



# БОГЕМА



Harvard  
University  
Library



№ 3



1915

А. ФРИЗОВЪ



## **ОТКРЫТА ПОДПИСКА**

на новый литературно-художественный журнал

# **„БОГЕМА“**

### **ВЪ ПЕТРОГРАДѢ:**

Абонментъ на 24 вып.: 3 р. — в.

» » 12 » 1 » 75 »

### **ВЪ ПРОВИНЦІИ:**

Абонментъ на 24 вып.: 3 р. 50 »

» » 12 » 2 » — »

### **Къ свѣдѣнію гг. авторовъ:**

Рукопись должна быть написана четко на одной сторонѣ листа. На обратѣ и возвращеніе рукописи слѣдуетъ приложить почтовые марки.

Письма по дѣламъ редакціи отъ 5—8 час. вечера onward.

### **КОНТОРА и РЕДАКЦІЯ:**

Петроградъ, Загородный пр., д. 49,  
кв. II.—Телефонъ 42-08.

Издается и распространяется при участіи **СТУДЕНЧЕСКОЙ Артели.**





# БОГЕМА

№ 3. МАЙ.

1915 ГОДЪ.

ПЕТРОГРАДЪ



## СОДЕРЖАНІЕ:

- А. ЛОЗИНА-ЛОЗИНСКІЙ . . . . . \* \* \* (стих.).  
С. МИКУЛИНЪ . . . . . Осеннее крещенье (стих.).  
В. ХОЛОДКОВСКІЙ . . . . . \* \* \* (стих.).  
К. ПОЛЯКОВЪ . . . . . Элегія (стих.).  
МИРМИДИ . . . . . \* \* \* (стих.).  
ДМИТРІЙ КАВЕРИНЪ . . . . . Сентиментальный рассказъ.  
АРКАДІЙ СЕЛИВАНОВЪ . . . . . Бутафорія (рассказъ).  
Я. ЛЮБЯРЪ . . . . . Спарафучиль.  
А. ГРИГОРЬЕВЪ . . . . . А. Н. Скрябинъ.

## РИСУНКИ:

- Л. РУДНЕВЪ . . . . . Архитектурная фантазія.  
А. МОЧАЛОВЪ . . . . . Подготовительный этюдъ къ картинѣ.  
С. СКЕРНЕВИЦКІЙ . . . . . Рисунокъ карандашомъ.  
П. ШИЛЛИНГОВСКІИ . . . . . Офортъ.  
М. ИВАШИНЦЕВА . . . . . Сепія.  
А. ФРИЗОВЪ . . . . . Обложка.  
Л. ЕВРЕИНОВЪ, А. ЗАЙЧИКЪ, В. КО-  
КОРЕВЪ, П. ШИЛЛИНГОВСКІЙ . Концовки и заставки.





А. Лозина-Лозинскій.

\* \* \*  
Размѣръ моихъ стиховъ есть поступь легионовъ,  
Разбитыхъ варваровъ, бургундовъ иль тевтоновъ,  
Безчисленныхъ, густыхъ, ползущихъ въ тѣмѣ и  
въ тѣму.

Однообразныхъ тучъ, угрюмыхъ ко всему,  
Гуль низколобыхъ ордъ, раскаты долгихъ стоновъ,  
Немолчный Океанъ глухихъ и грозныхъ звоновъ,  
Насмѣшки вѣрящихъ во власть нѣмыхъ Законовъ  
И бросившихъ свой край такъ вдругъ, ни-почему...

И голосъ музы—кличъ. Медлительный, безбожный,  
Но и разсудочный, и хищно осторожный,  
Грудной и мѣдный зовъ сѣдого трубача.  
Распространяетъ вдругъ его труба, рыча,  
Какъ самка дальняя въ своей тоскѣ тревожной,  
Меланхолический вой, свирѣпый, безнадежный,  
И ноги въ поножахъ во мракѣ волоча,  
Всѣ варвары гремятъ, опрастывая ножны.

С. Микулинъ.

#### ОСЕННЕЕ КРЕЩЕНЬЕ.

Осеннимъ пламенемъ пылаетъ  
Весь горизонтъ. Ты здѣсь одна.  
У запыленнаго окна,  
Твоя душа теперь сгораетъ.  
Кровавымъ блескомъ запылали  
Кресты соборовъ въ вышинѣ.  
Внимая страшной тишинѣ,  
Поникла ты въ нѣмой печали.  
Весь мѣръ въ огнѣ! Тоской вечерней  
Отравленъ городъ. Ты—одна.  
Пылаетъ страшно тишина.  
Безуменъ скорбный звонъ къ вечернѣ.  
И стройнымъ призракомъ вращается  
Въ кровавый сумракъ бѣлый храмъ.  
А я приникъ къ твоимъ ногамъ...  
Весь мѣръ въ крови! Весь мѣръ сгораетъ!



В. Холодковскій.

\* \* \*

...И новый день подкрался къ окнамъ бѣлымъ...  
Но этотъ день безрадостенъ и строгъ,  
Меня печалитъ онъ, какъ тихій вздохъ осокъ,  
Что надъ прудомъ склонились обмельѣлымъ.

Но я... я радъ ему: онъ скорбь мою щадитъ.  
И душу яркостью и жизнью не терзаетъ,—  
Онъ утро въ сумерки тоски преобразаетъ,  
Онъ изъ тумановъ мнѣ о вѣчномъ говоритъ.

Надъ горстью прошлаго, что память сохранила,  
Сажу одинъ, безъ мыслей и безъ словъ;—  
Слѣдя агонію еще живыхъ цвѣтовъ,  
Которыхъ также ждетъ на днѣ души могила.

Послѣднихъ словъ—глубокая печаль.  
Послѣднихъ ласкъ—болѣзненная жадность.  
...Благодарю тебя за безотрадность,  
Мой скорбный день....

К. Поляковъ.

ЭЛЕГІЯ.

Безводный водоемъ былъ въ серебристой тинѣ;  
Среди колоннъ струился воздухъ синій.

Упали стрѣлами на бѣлыя ступени  
Растеній узкихъ трепетныя тѣни.

Печаль мою несу покинутой богинѣ, —  
Прощальный сердца даръ принеси я нынѣ...

Прими теперь на свѣтлый жертвенникъ идиллій  
Не звонкую свирѣль, а связку лилій.

Мирмиди.

\* \* \*

Я сегодня хотѣла быть бѣлой.  
Я бѣлое платье надѣла.  
Я сегодня такъ странно нѣжна  
И, какъ ледъ, ко всему холодна.  
Я такъ тихо, такъ тихо ступаю,  
Я не мыслю, я все понимаю. . .  
Другъ, мнѣ кажется, я умираю?







Дмитрій Каверинъ.

## Сентиментальный рассказъ.

Прекраснымъ бываетъ утромъ дачный садъ. Желтыя дорожки въ полоскахъ отъ метлы, яркія и тихія—по нимъ пробѣгаетъ птица.

Еще роса, и цвѣты въ клумбахъ склоненныя, тяжелыя.

Кто оживитъ этотъ садъ, кто первымъ пройдетъ по его дорожкамъ, тотъ также покажется прекраснымъ.

Первой проснулась Лиза.

Вотъ это слѣды ея ногъ у березы, у плетенаго дивана, гдѣ столбикъ съ бильбоке, сзади дачи, гдѣ горушка ледника и зеленая бочка.

Сейчасъ Лиза на террасѣ у стола съ синей скатертью—пьетъ молоко.

Посмотрѣла въ темныя стекла, въ глубь комнаты, тамъ бѣлѣетъ чья-то фигура.

Раскрылось окно, и мать спросила:

— Хорошо сегодня, Лиза?

Издаലെка звонокъ рѣзкій и продолжительный. Это Сергѣй ѣдетъ на велосипедѣ; сквозь сиреневые кусты видна его бѣлая коломанка.

Придерживаясь за изгородь, онъ остановился у калитки.

Лиза выбѣжала къ нему навстрѣчу.

— Скорѣй, Сережа, доведите меня!

Онъ обхватилъ ее за красный лакированный кушачокъ

и приподнялъ на сѣдло. Поддерживая, шелъ рядомъ; ихъ руки все время встрѣчались на рулѣ.

На террасу вышла мать. Принесли самоваръ, чашки, ложки, и съ ними зацвѣли стѣны радужными бликами.

Оттого, что Лиза сѣла спиной къ свѣту, стали отчетливыми и блестящими ея волосы—тонкіе, гладкіе волосы дѣвочки.

Сергѣй отказывался отъ чая, но его легко было уговорить. Сѣлъ онъ у дверей, вдаль отъ Лизы.

Такъ всегда бывало. Этотъ синій столъ разлучалъ ихъ. Постоянно за нимъ кто-нибудь былъ, вязалъ или раскладывалъ пасьянсъ, а иногда собиралось много людей, подолгу пѣли, играли въ карты.

На террасѣ Лиза не любила бывать. Другое дѣло забѣжать на минутку: нѣтъ ли чего-нибудь вкуснаго.

Чай быстро выпила, чашечка маленькая—одинъ глотокъ.

Встала, проходя мимо Сергѣя, улыбнулась. Ласковый шопотъ былъ въ ея улыбкѣ, „скорѣй, Сережа“. Вышла въ садъ. Левкоями пахли свѣжія струи вѣтра. Перебрасывались одна къ другой макушки деревьевъ. Къ ровному голубоватому небу, точно дѣвочка въ бѣломъ платьѣ, поднималось облако.

— Наконецъ-то, идемте.

— Нѣтъ, Лиза, надо еще взять съ собою веревокъ.

Хлопнули калиткой и вышли на солнце. Перешли дорогу по засохшимъ хребтамъ грязи; ночью былъ дождь.

Мимо дачь, по полю, къ лѣсу; перелѣзли изгородь. Замычаль теленокъ.



Лиза поманила его пучкомъ зеленого овса и погладила его нагрѣтую солнцемъ шерсть.

Въ полѣ была рига, изъ ея бревень космами торчала конопатка.

У Сергѣя мелькнула мысль—надо захватить для лодки. Вдвоемъ они быстро натаскали порядочный клубокъ.

— Я увѣренъ, что сегодня покатаемся, только бы весла не пропали.

На фонѣ темныхъ елей, какъ звѣзды, сверкали кузнечики. Красная полоса песка и кочка—лѣсная дорога.

Тамъ, гдѣ кустарники ольхи и рѣже сѣть деревьевъ—озеро.

Вышли къ болотному съ высокой травой берегу. Кберху дномъ лежала черная, просмоленная лодка.

— Совсѣмъ тихо, не надо и весель, можно на однихъ шестахъ,—сказалъ Сергѣй.

— Ну, это неинтересно, я хочу грести.

Лиза нагнулась достать изъ воды спрятанныя весла, но не рѣшилась—поверхность трепетала отъ мотылей и плавунцовъ. Взяла вѣтку и нѣсколько разъ ударила ею по водѣ.

Сергѣй перевертывалъ лодку съ большимъ трудомъ, прижавъ корму ея къ дереву. На лодкѣ была еще совсѣмъ свѣжая смола. Сергѣй засучилъ рукава и сбросилъ фуражку.

Теперь оставалось спустить лодку на воду.

Онъ положилъ нѣсколько кольевъ—ни къ чему. Лиза помогла ему.

Медленно, шурша, полосой приминая траву, двинулась лодка.

Вдругъ у Лизы сорвались руки, и она всѣмъ своимъ легко одѣтымъ тѣломъ упала на Сергѣя. Точно облако теплое и ароматное обвѣяло его.

Онъ невольно потянулся къ дѣвушкѣ. Но Лиза вскрикнула испуганно и ласково:

— Сережа, у васъ всѣ руки въ смолѣ!

Взглянулъ на свои красныя руки въ темныхъ пятнахъ, смутился. Снова взялись за лодку и быстро столкнули ее въ воду.

Чтобы Лиза могла сѣсть, Сергѣй отвелъ лодку къ небольшому мыску съ изогнутой низкой березой.

Изъ тѣни лѣса они выѣхали сразу на солнечную воду, и Лиза внезапно почувствовала усталость и закрыла глаза. Сквозь вѣки она все еще видѣла солнце и розоватый воздухъ. Нагнулась и приблизила лицо къ прохладной водѣ.

Сергѣй сидѣлъ на кормѣ съ весломъ и смывалъ съ своихъ рукъ смолу.

Чѣмъ ближе она узнавала людей, ихъ жизнь, тѣмъ сильнѣе желала разгадать свою. У нея ничего не было, что она могла бы назвать своимъ, такъ прямо сказать—моя жизнь. И, вдругъ, встрѣча, послѣ столькихъ лѣтъ, съ Сергѣемъ Николаевичемъ; и каждый намекъ, какъ дружески протянутая рука.

Они проходили по улицамъ внимательные только другъ къ другу. Много говорили, и въ каждомъ словѣ былъ вопросъ, ясный душѣ, но безъ отвѣта.

Закатомъ окрасились дома, и окна горѣли, какъ парчевыя хоругви.

Они остановились у подъѣзда.

— Придите завтра, Сергѣй Николаевичъ, мама страшно удивится.

Для него это радость. Онъ поцѣловалъ ея руку.

— До завтра.

Какой волнующій у нея голосъ, тотъ знакомый, ясный голосъ дѣвочки и другой, который онъ слышалъ впервые.

Онъ пришелъ раньше, чѣмъ условились. Снимая пальто, онъ увидѣлъ Лизу въ зеркалѣ, мелькомъ. Не могъ не улыбнуться, входя въ комнату.

Лиза поздоровалась и, не отнимая своей прохладной руки, подвела къ матери.

— Мама, Сергѣй Николаевичъ!

Сливаясь съ окружающими предметами, въ тонъ сѣрымъ тканямъ и сумеркамъ у окна сидѣла мать.

— Какъ мило, Сергѣй Николаевичъ, что вы вспомнили о насъ.

Разговорились, и быстро все рассказали другъ другу.



Лиза прервала ихъ, спросила, гдѣ онъ бываетъ.

— Такъ вы, значитъ, знаете Соню. Она такая интересная, съ тонкимъ вкусомъ, всегда ходитъ въ черномъ. Вамъ она, навѣрно, нравится?

Онъ уловилъ въ интонаціи ея голоса отвѣтъ.

— Да, какъ монахиня, мечтающая о послушникахъ. Но мнѣ она противна своей манерностью.

Темнѣло. Перешли къ столу, зажгли лампу.

Показалось забавнымъ, что были въ одинъ и тотъ же день въ театрѣ и не замѣтили другъ друга. Тогда они видѣли танцовщицу, танцы которой вызвали у нихъ одинаковое настроеніе.

— Когда я на нее смотрю, я хотѣла бы танцевать. Вы замѣтили, какое у нея всегда печальное лицо.

Онъ чувствовалъ ея мысль.

— Да, да, но мнѣ не только она нравится, я люблю тѣ мелодіи, которыя сопровождали ея танецъ.

Было поздно. Уходя, въ дверяхъ, тономъ, въ которомъ была интимность, онъ сказалъ:

— Вы, кажется, не измѣнили ни одной своей привычкѣ, даже въ мелочахъ: попрежнему короткія рукава и открытая шея, только нѣтъ косы.

Онъ перешелъ улицу и взглянулъ на освѣщенные окна.

На слѣдующій день, къ вечеру, когда хотѣлъ идти уже къ Лизѣ, отъ нея принесли письмо. Сегодня она нездорова и просила его не приходить — „вамъ будетъ скучно“.

Весь день былъ для него такимъ прекраснымъ, и теперь неожиданно и просто все разрушалось. Странныя, противорѣчивыя чувства охватили его. Онъ сегодня не увидитъ Лизы... И острѣе стали его ощущенія, и Лиза казалась другой.

Захотѣлось движенія. Всталъ и открылъ окно. На углу у зажженного фонаря яркимъ желтымъ пятномъ свѣтился почтовый ящикъ.

Отъ неясныхъ, ритмичныхъ звуковъ сумрака было тоскливо, скучно.

Опустилъ шторы и зажегъ свѣтъ.

Онъ совсѣмъ не ожидалъ, это не могло случиться....

Вошла Лиза.

Какъ крѣпко онъ сжалъ ея руки въ большой лисьей муфтѣ.

Все напряженіе утолилось этой близостью. Должно быть, странныя усилія были у души, и мечта была измученная работница.

Какой сладкій внезапный отдыхъ испытывали они.

Лиза откинулась на спинку дивана, всю себя она отдавала поцѣлюямъ. Улыбнулась, встрѣтивъ такъ близко его глаза, сразу приподнялась и отстранила его руки.

— Видишь, я здорова. Я сегодня оставалась совсѣмъ одна и не хотѣла, чтобы ты пришелъ.

Онъ досталъ ея записку, поцѣловалъ и разорвалъ на мелкія клочья.

Она съ интересомъ разсматривала всѣ его вещи, каждую мелочь.

Что-то смутило ее, она задумалась. Онъ угадывалъ, что думаетъ она не о немъ, у нея свои мысли. Имъ овладѣло безпокойство, казалось, что она сейчасъ уйдетъ.

Она вышла въ другую комнату, гдѣ не было свѣта. Онъ неотступно слѣдовалъ за нею. И здѣсь въ темнотѣ первый разъ она отвѣтила на его поцѣлуй, всѣмъ своимъ тѣломъ.

Онъ поднялъ ее на руки, но она некрасиво и зло откинулась отъ него.

— Не надо, я не хочу.

Нѣжнымъ шопотомъ онъ умолялъ ее. Тогда она вырвалась и съ отвращеніемъ произнесла:

— Нѣтъ, никогда,—и совсѣмъ другимъ тономъ:— Все это для насъ слишкомъ ясно.

Рѣшительно откинула штору. Утренній свѣтъ, какъ стая бѣлыхъ голубей, ворвался въ комнату и освѣтилъ ея лицо съ закрытыми глазами.

Дмитрій Наверинъ.





Аркадій Селивановъ.

## БУТАФОРІЯ.

(Страницы изъ дневника.)

12 марта.

Когда зима уже начинаетъ плакать вешними слезами и по единственной дорогѣ въ городъ ни пройти, ни проѣхать, я достаю эту тетрадь и на бѣлыхъ страницы бросаю лѣнивою рукой пеструю тѣни моихъ воспоминаній, розовые блики наивныхъ надеждъ, ласковые отсвѣты вѣчныхъ мечтаній... Такъ люди, сидящіе подолгу въ одиночкахъ, начинаютъ разговаривать сами съ собой.

Старый котъ Макарка лежитъ тутъ-же на столѣ, грѣется около лампы, и зеленые глаза его бродятъ по этимъ страницамъ вслѣдъ за моимъ перомъ. Онъ былъ и останется единственнымъ читателемъ записокъ чловѣка, дважды потерпѣвшаго кораблекрушеніе.

Умница-Макарка, онъ не любитъ воды и давно уже нашель тихую пристань въ моемъ домѣ. Зеленые глаза его не видѣли неба Италіи, но и не заглядывали въ глаза смерти; онъ не знаетъ радостей двуногого полубога, но за то ему неизвѣстно и сердце женщины. Счастливый Макарка!

15

15 марта.

Вчера пришла почта. Неспѣша, аккуратно вскрывая знакомый конвертъ, я внимательно смотрѣлъ на свою руку. Гм... Она и не дрогнула. Письмо Маруси, уже третье со дня нашей разлуки. Четыре страницы позднихъ сожалѣній... Нотки раскаянія вперемежку съ давно знакомыми упреками... Однѣ и тѣ-же просьбы вернуться, или хотя писать, писать...

Охъ, ни того и ни другого!..

Шея укутана шарфомъ, на ногахъ высокіе, болотные сапоги, нахлобучена теплая заячья шапка и передо мною безконечное, бѣлоснѣжное поле, съ далекимъ, синеватымъ лѣскомъ на горизонтѣ.

Я долго бродилъ вчера. Въ тишинѣ деревенскаго утра медленно плелись за мною скучныя думы. Похрустывалъ снѣгъ подъ ногами. При взглядѣ на залитую солнцемъ дорогу, закрывались утомленные глаза... Хороша и она, эта тишина кладбища въ усталой душѣ. Оплаканы дорогія могилы, стерлись надписи сердца, и безмолвный сторожъ— время охраняетъ покой погребленныхъ отъ святотатства дерзкихъ воспоминаній.

Одинокія безцѣльныя прогулки вызываютъ великолѣпный аппетитъ. Вкусно пахнутъ горячія щи на столѣ, ласково мурлычетъ Макарка, полный ожиданія.

Я выпилъ за здоровье далекой Маруси добрую рюмку водки и послѣ обѣда заснулъ безмятежнымъ сномъ соборнаго протопопа.

16 марта.

Мы съ Макаркою остались одни. Сегодня суббота, и Аннушка отпросилась на моленье въ сосѣднее село. Повязала голову чернымъ платкомъ, закуталась въ старую штопанную перештопанную бабушкину шубейку и пошла за четыре версты по темной вечерней дорогѣ.

Идетъ она сейчасъ, опутивъ печальные глаза, крѣпко сжавъ блѣдныя губы... Серьезное, почти строгое лицо и такія-же мысли въ бѣдной маленькой головкѣ.

Аннушка умѣетъ молиться и до конца не разучится вѣрить. Я знаю о чемъ ея молитвы, и мнѣ сейчасъ грустно, слегка больно и чуть-чуть завидно.

Да. Давно это было...

А родился-ли новый?

16



Я сижу не зажигая лампы, довольствуясь свѣтомъ лампадки, оправленной Аннушкой. Мы съ флегматикомъ Макаркою оба смотримъ подолгу на робкій красный огонекъ и оба одинаково не находимъ отвѣта на этотъ вѣчный вопросъ. Какая трагедія родиться кошкой!..

Время сегодня тянется, тянется... Макарка дремлетъ и чуть слышно поетъ свою постоянную пѣсенку сытаго благополучія. А мнѣ скучно... Какъ Фаусту, который уже не вѣритъ и въ Мефистофеля. Мнѣ противны мои книги и эта сонная тишина и этотъ горькій табакъ въ моей папиросѣ.

Одно изъ двухъ: или я вчера простудился, или... Или мнѣ уже не помогутъ ни хининъ, ни липовый чай.

Изъ далекаго города занесли въ мою комнату бациллу воспоминаній. Тонкая женская рука прислала ее вчера въ своемъ конвертѣ, и я отравленъ.

Нѣтъ, нѣтъ! Между мною и прошлымъ океанъ и еще недавно такъ весело горѣли корабли. Все это только вечернія тѣни, ядовитыя сумерки. Сейчасъ будетъ свѣтло, я зажгу огонь и прогоню всѣ призраки.

Макарка, проснись! Сейчасъ вернется Аннушка, и мы будемъ ужинать и пить чай и станетъ тепло и хорошо... То-то! Покойникамъ подобаетъ лежать чинно и не шевелиться...

17 марта.

Зачѣмъ я залѣзь въ эту трущобу? Развѣ для такихъ, какъ я, уготованы скиты и пустыни? Кому не дано быть отшельникомъ, тотъ долженъ быть коммивояжеромъ. Колесить по бѣлому свѣту, торговать совѣстью, убѣжденіями и прочей дешевкой. Не для насъ эти тихія сонныя дали, простыя сердца, незлобивыя души. Что ожидаетъ фаталиста тамъ, гдѣ „завтра“ и „вчера“—сіамскіе близнецы? Не лишній-ли я въ этомъ домѣ, гдѣ Аннушка читаетъ по ночамъ житія Варвары Великомученицы и утираетъ передникомъ тихія слезы, гдѣ часто вспыхиваетъ заревомъ радости ея блѣдное лицо и вѣчно лгутъ печальные глаза, лгутъ и мнѣ, и весеннему солнцу, и самой себѣ?

Зачѣмъ мы уходимъ въ деревню? Мы—блудные сыновья матери природы и напрасно стучимся у дверей ея дома. Чужды намъ материнскія пѣсни, непонятны ласки весенняго вѣтра, не грѣютъ насъ золотые лучи. Въ свисто-

17

пляскѣ большихъ городовъ разучились мы понимать простой, безхитростный языкъ прилетающихъ птицъ, шумящаго лѣса и весеннихъ ручьевъ. И все у насъ наоборотъ: сельскіе ландшафты напоминаютъ намъ театральныя декорации, луна—электрической прожекторъ, аромать темнаго бора—сосновую воду изъ аптекарскаго магазина.

Какъ бы весело и радостно улыбнулась Маруся, прочтя эти строки. Чего добраго, приказала-бы обмахнуть пыль въ моемъ кабинетѣ и заглянула-бы въ росписаніе поѣздовъ...

19 марта.

Въ сельскомъ хозяйствѣ я смыслю меньше, чѣмъ въ астрономіи. Всѣмъ завѣдуетъ приказчикъ Алексѣй, не старый еще мужикъ, съ тихимъ голоскомъ, богобоязненный и продувной. Конечно, воруетъ, и при мнѣ, пожалуй больше, чѣмъ безъ меня.

Вчера меня зачѣмъ-то приглашали на сходъ. Мужики толковали о сѣменахъ, дѣлили какія-то поля, полосы...

Я сидѣлъ, слушалъ и ничего не понималъ. И снова задавалъ себѣ вопросъ: зачѣмъ я здѣсь? Если мы не дѣти природы, то и не братья мужику. Сліяніе съ народомъ? Охъ!.. Если народъ—глубокое, сонное до сихъ поръ озеро, то мы, умащенные всяческими знаніями, только жирныя пятна, плавающія на его поверхности. Сольемся-ли?

Когда чортъ связывается съ младенцемъ, всегда теряютъ оба: младенецъ свою чистоту, а чортъ свое время, стоящее дороже младенческой души. Я не завидую мужицкимъ воспоминаніямъ, но забудемъ-ли и мы кинематографъ исторіи: римскій плебсъ съ коллизеяхъ Нерона, зарево горящихъ холерныхъ бараконъ, честныя мозолистыя руки, подкладывавшія дрова въ костры Галилея и Гуса, іерусалимскую чернь вокругъ Голгофы и вопль ея: „Варавву отпусти!“

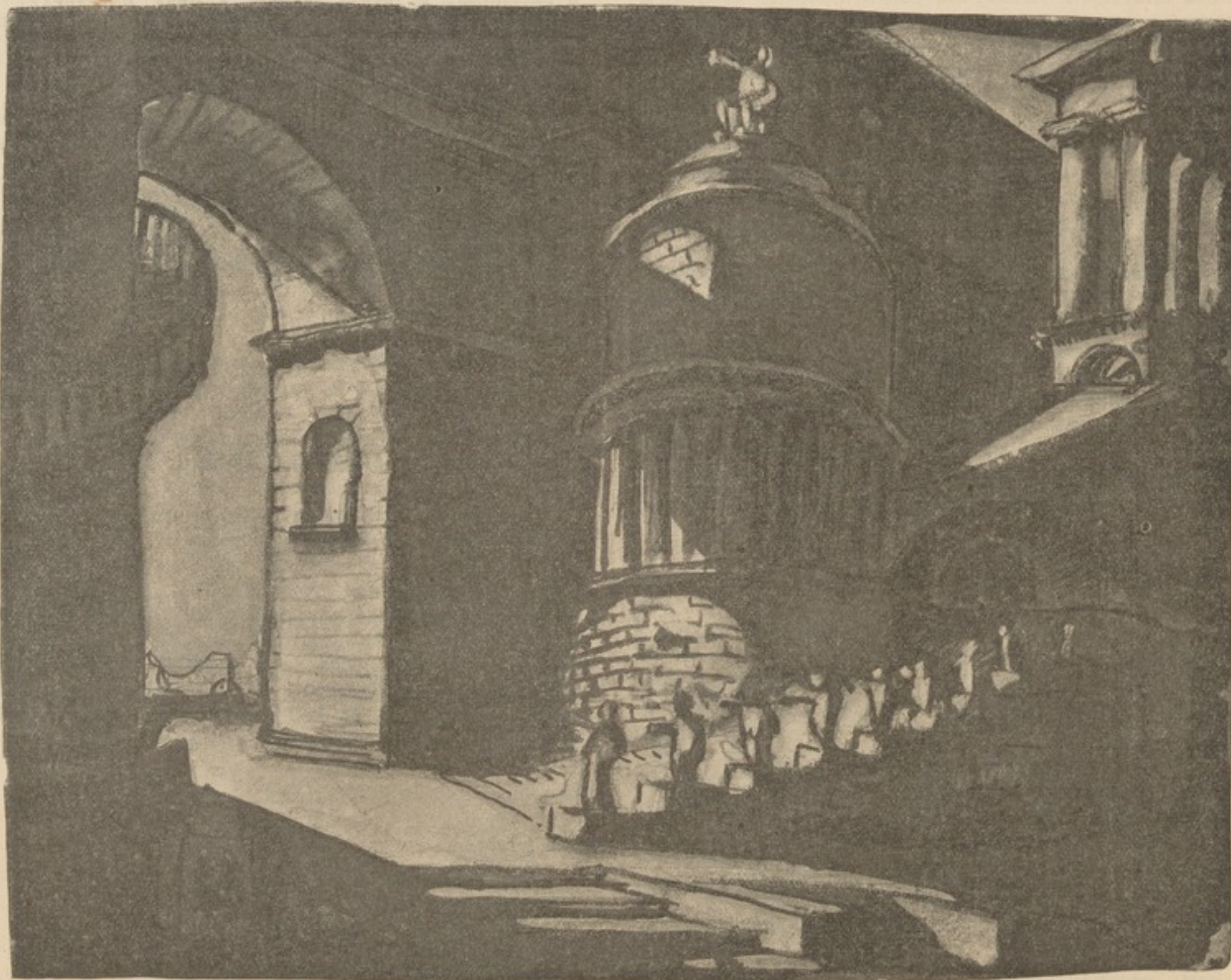
20 марта.

- Можно мнѣ на недѣльку?..
- Куда?
- Сходить въ скиты, помолиться.
- А какъ-же я?
- За меня побудетъ Егоровна...
- Слушай Анна!..

Передъ блѣдной дѣвушкой встаетъ во весь ростъ еще недавній Артемій Кулыгинъ, Кулыгинъ столичныхъ буду-

18





ЛЕВЪ РУДНЕВЪ.

Архитектурная фантазія.



аровъ и ресторановъ. Мягко и въ то-же время властно звучить голосъ. Жгутъ глаза...

— Слушай, Анна, ты можешь уходить каждую минуту и куда угодно. Я не держу, но помни: уйдешь,—не возвращайся. Ты мнѣ не нужна.

Ни звука въ отвѣтъ. Аннушка молча, не поднимая глазъ, убираетъ со стола и выходитъ. Задравъ хвостъ, убѣгаетъ за ней Макарка. Я хожу большими шагами изъ угла въ уголь, курю и твержу себѣ: пора во всемъ этомъ разобраться, разъ и навсегда...

Что она для меня? Аккуратная работница, стряпуха и только? Одинъ изъ домашнихъ аксессуаровъ, къ которымъ такъ смѣшно и крѣпко привязываются одинокіе люди. Существо, ласкающее мое неглубокое мужское самолюбіе своей безвольной и плохо скрытой влюбленностью, или... Или женщина, которую я и самъ начинаю... Гм... Да, пора, наконецъ, все это выяснить.

Аннушка изъ строгой старовѣрской семьи. Отецъ ея первый начетчикъ во всей волости. Не смотря на выгодныя условія, онъ долго не хотѣлъ отпустить ее ко мнѣ.

— Пропадетъ дѣвка! — твердилъ онъ. — Табачищемъ окаяннымъ насквозь провоняетъ. Постовъ не соблюдетъ... Пѣсенъ бѣсовскихъ наслушается.

Вначалѣ я и самъ подумывалъ отослать ее обратно. Слишкомъ уже постная физиономія, ни улыбки, ни слова лишняго. И безъ того въ зимніе вечера стояла во всемъ домѣ жуткая могильная тишина, а тутъ еще эта смиренница...

Часто, изнывая отъ мертвящей скуки, я швырялъ въ уголь книгу и шелъ дразнить Аннушку: закуривалъ папирсы отъ ея лампадки, клалъ мясо въ постную похлебку, приводилъ въ комнаты дворовую собаку...

Аннушка молча терпѣла. Сидѣла безъ обѣда, уходила отъ собаки.

И только однажды подняла на меня глаза, хотѣла что-то сказать и тихо, беззвучно заплакала... Острая жалость стиснула мнѣ сердце. Я подошелъ къ ней, машинально, какъ ребенка, погладилъ ее по склоненной русой головѣ, извинился... Аннушка громко зарыдала, вскочила и выбѣжала въ сѣни.

Я съ глупымъ видомъ постоялъ въ кухнѣ, махнулъ рукой и пошелъ спать. Больше я ее не трогалъ.

И съ этого дня у меня стало двѣ собаки: на дворѣ

вѣрный и преданный Цыганка, а въ домѣ еще болѣе преданная Анна. Она глядѣла въ мои глаза, угадывая желанія, расцвѣтала радостью отъ моей шутки и ходила печальная, словно въ воду опущенная, когда я хандрилъ.

Неволью я сталъ баловать ее чѣмъ могъ, чаще отпустить къ старикамъ, заказывать иногда, по средамъ и пятницамъ, постный обѣдъ, или, случалось, по вечерамъ, загнувъ страницу Мультатулли, или Рескина, я откладывалъ въ сторону свои книги и звалъ Аннушку съ ея толстой, закапанной желтымъ воскомъ книгой—Четъи-Миней.

И мы читали. То есть, читалъ я съ чувствомъ и толкомъ, мѣрнымъ голосомъ, а Аннушка слушала, подперевъ рукой щеку, опустивъ глаза.

Неистовствовали Юстиніаны и Діоклитіаны, закрывались тяжелыя двери древнихъ узилищъ и страдали за ними христіанскіе мученики. Ярко горѣли костры, вкусно чавкали львы и тигры и шипѣло, дымилось человѣческое тѣло въ раскаленныхъ желѣзныхъ клещахъ. Свистѣли въ воздухѣ бичи и скорпіоны...

Въ потокахъ крови, въ страдальческихъ стонахъ и торжествѣ экстаза рождалась мечта безчисленныхъ столѣтій. Законъ любви среди людей... Миръ не зналъ и не знаетъ болѣе чистой, красивой и болѣе несбыточной мечты. Согбенные дряхлые старцы, кроткія юныя дѣвы, вашей кровью напитаны цирковыя арены, ваша память безсмертна,

*nono homini lupus est!..*

22 марта.

Анна безсознательно ревнуетъ меня къ письмамъ изъ города. Вчерашнее письмо Маруси я нашелъ подъ пачкой газетъ, засунутымъ въ обертку журнала.

А въ письмѣ оказывается новость: Маруся уже не зоветъ меня и не ждетъ моего возвращенія, а просто сообщаетъ, что въ серединѣ апрѣля, какъ только подсохнутъ дороги, сама пріѣдетъ въ Орѣшники... Рѣшеніе это, кажется, безповоротное: вся послѣдняя страничка посвящена хозяйственнымъ вопросамъ объ устройствѣ ея комнаты, о лошадяхъ, экипажахъ и даже о сосѣдяхъ.

Прощай, мое одиночество!

Впрочемъ есть еще спасенье: уложить чемоданы и махнуть за границу. Если сдѣлать нажимъ на Алексѣя, то, пожалуй, нужная сумма и найдется... Эхъ!.. А я уже при-



выкъ здѣсь, обидѣлся... Да и что я буду дѣлать заграницей? Развѣ мыслима тамъ эта жизнь? Добрый російскій чертополохъ и, вдругъ, въ заморскую оранжерею!

Написать Марусѣ? Попытаться отговорить ее? Безполезно. Масло въ огонь. Назло пріѣдетъ и даже раньше срока.

Да, а какъ-же Анна?

Не измѣнило тебѣ, дѣвушка, твое женское кошачье чутье, не даромъ тебѣ хотѣлось сжечь это милое письмо. Не помогутъ теперь ночныя стоянія, поклоны земные, безсчетныя... Скоро растаетъ твоя хрустальная зимняя сказка и глаза-ручьи омоютъ вешними слезами твое лицо, блѣдное, какъ снѣгъ. Скоро...

А... Къ чорту всю эту слякоть!..

Что ты глядишь на меня, зеленоглазое сытое животное? Чего ждешь? Окурка въ носъ, или молока? Гордый, свободный и страшный тигръ, выродившійся въ Макарку, живущаго моими подачками... Брысь!..

23 марта:

— Анна, ты знаешь новость? Скоро пріѣдетъ сюда барыня...

Чуть шевелятся блѣдныя губы:

— Когда?

— Черезъ двѣ недѣли.

— О!..

Вспыхиваетъ радостью лицо, высоко вздымается молодая грудь, крѣпко и жарко приникаютъ къ моему лицу жадныя губы...

— О!.. А до тѣхъ поръ ты мой еще... Ты мой!..

Бѣгутъ минуты, прекрасныя, ядовитыя...

— Анна, а что-же дальше? Что будетъ когда она...

— Ничего. Я соберу свою котомку и уйду.

— А я?

Молчитъ Анна, хмурятся тонкія брови, холодно отодвигается отъ меня дѣвушка въ черномъ платьѣ, опускаетъ потемнѣвшіе недобрые глаза.

— А вамъ... Совѣтъ да любовь.

— Анна!..

Ея уже нѣтъ. Ушла. Я одинъ. И долго въ тишинѣ, въ сумеркахъ догорающаго весенняго дня, шагаетъ изъ угла въ уголъ несуразный homo sapiens, растерянный, безвольный, безсильный...

23

24 марта.

Утренняя прогулка успокаиваетъ нервы...

Весенній вѣтерокъ освѣжаетъ воспаленную голову. Я хочу, я пробую смотрѣть на вещи трезво и спокойно... Ну-съ, въ чемъ-же, наконецъ, дѣло?

Сытый бездѣльникъ Артемій Кулыгинъ спутался съ крестьянской дѣвицей. Подумаешь, какая необычная новость! У Кулыгина—милая жена, у дѣвицы—строгий суровый батька. Ну, а зачѣмъ имъ непременно знать объ этомъ, съ позволенія сказать, романѣ? Кулыгину не учиться лгать... Да и кто мѣшаетъ ему, вмѣстѣ съ своей возлюбленной, уѣхать куданибудь далеко, далеко? Хе-хе?.. Отъ себя, топ ами, не уѣдешь... Нѣтъ-съ!.. Вотъ, хотя-бы вчера: блаженнѣе тебя не было подъ небесами, восторгъ душилъ тебя, изнывала душа отъ сладкой боли счастья, ты былъ готовъ, безъ минуты раздумья, жизнь свою бросить къ ея ногамъ, а все-же замѣтилъ, небойсь, что богиня твоя высморкалась въ передникъ... Жарко цѣловалъ ея тонкія руки, но только не пальцы, только не пальцы съ кривыми, черными ногтями. Сморщился, какъ печеное яблоко, когда она, ласкаясь, назвала тебя „голубочкомъ“.

Но вѣдь это лишь внѣшность, вѣдь можно-же перевоспитать, поднять до себя?.. О-хо-хо!.. Благородная задача, только не про насъ. Подъ силу развѣ какомунибудь Джону.

И такъ... Охъ, Боже мой, отчего я не пьяница?..

26 марта.

Какая ночь была сегодня! Даже я заглядѣлся на звѣзды. Яркія, близкія, зовущія...

Что-жъ? Вѣдь и Кулыгины иногда думаютъ о высокихъ предметахъ. Что, если всѣ эти далекіе фонарики и вправду—міры? Гдѣ предѣлъ нашихъ исканій? Быть можетъ, и наступитъ день, когда любопытные обитатели земли пожмутъ руку какомунибудь марсіанину, или пассажиру съ луны. Только не будетъ-ли это днемъ величайшаго разочарованія? Что, если господа марсіане повторятъ намъ нашу-же повѣсть о жизни бѣдныхъ двуногихъ, вѣчно страдающихъ, вѣчно далекихъ отъ познанія жизненной цѣли?..

Я ѣхалъ верхомъ, возвращаясь изъ города; двѣнадцать верстъ и все поле, нѣмымъ и безлюднымъ. Чавкалъ мокрый снѣгъ подъ ногами лошади, позванивали бутылки

24





А. МОЧАЛОВЪ,

Подготовительный рис. къ картинѣ.



въ кошмѣ за сѣдломъ... Вокругъ меня была тишина, просторъ, покой...

Покой... Нѣтъ, это не лучшее, изъ всего уготованнаго человѣку. Недаромъ, даже на краю могилы, онъ еще упирается. Чего-бы, кажется, проще,—ложись и вкушай безконечную радость покоя.

Я везъ подарокъ Аннѣ. Какъ-то она проговорила, что хотѣла-бы имѣть кольцо, подаренное мною, все равно какое, лишь было-бы надъ чѣмъ поплакать, что прятать подъ подушку и цѣловать въ бессонныя ночи.

Я самъ надѣлъ ей на палецъ свой подарокъ, узенькій золотой обручикъ съ маленькимъ, точно капля крови, рубиномъ.

Анна была въ восторгѣ... О, я знаю—скоро она спрячетъ его отъ всѣхъ и будетъ носить на груди эту новую святыню. Бѣдный рубинъ, тебѣ предстоятъ ежедневныя ванны изъ горькихъ дѣвичьихъ слезъ, ты будешь ближе всѣхъ къ ея сердцу. Лучше не слушай...

И дома снова, почти до разсвѣта, я сидѣлъ у окна, глядя въ ночное небо. Рядомъ сидѣла безмолвная тихая Анна и думала свои думы. Блѣднѣла и тихо угасала голубокая красавица—Венера... Душа близкой любимой женщины и ты, далекая, безмолвная звѣзда... Что мы знаемъ о васъ?

27 марта.

Въ полдень на дворъ вѣхала мужицкая телѣга, сплошь залѣпленная весенней грязью. Неспѣша слѣзъ высокой худощавый старикъ, разнуздалъ сытую пѣгую кобылку и, увидѣвъ меня, молча снялъ шапку и поклонился въ поясъ.

— Дочку провѣдать?—спросилъ я.

— Къ ей... И къ твоей милости.

— Деньжонокъ нужно?

— Вотъ. Оно самое.

— Ну, пойдёмъ.

Долго вытираетъ ноги, кряхтитъ, крестится на икону и останавливается на порогѣ.

— Взойди, присядь.

— Постоимъ.

— Въ ногахъ правды нѣтъ...—улыбаюсь я своему немѣнно разговаривать съ мужиками.

— Садись сюда, потолкуемъ.

27

Скрипитъ плетенный стулъ. Скользятъ любопытно по книгамъ и картинамъ сѣрые острые глаза.

Я достаю изъ стола деньги, отсчитываю жалованье Аннушки.

— Дозволь ужъ сполна—говорить старикъ.—Разсчитай ее... Я за дочкой.

— Какъ? Развѣ еще не оставишь?

— Нѣтъ-ужъ, пора ей... И по дому нужна. Время такое...

Старикъ спокоенъ. А monsieur Кулыгинъ вскакиваетъ и нервно шагаетъ по комнатѣ. Безумно хочется закурить, но не рѣшаюсь: „еще убѣжить, дьяволъ!..“ думаю я и кусаю губы.

— Такъ нельзя,—говорю я, не глядя на старика.—Вздумалъ и берешь. А какъ-же я останусь? Я не съ тѣмъ нанималъ... Я не люблю мѣнять прислугу...

Тонкая, хитрая мысль осѣняетъ мою голову:

— Вотъ, на дняхъ приѣзжаетъ барыня, жена моя... Тѣмъ болѣе я не могу отпустить Аннушку... Понимаешь? Барыня приѣзжаетъ...—повторяю я свой, какъ мнѣ кажется, тонкій шахматный ходъ.

— Да я не къ тому...—возражаетъ старикъ.

Я вспыхиваю и уже злюсь.

— Какъ знаешь, но сегодня и думать нечего... Я не отпущу ее. Къ приѣзду нужно домъ приготовить, полы вымыть и... прочее...

Старикъ встаетъ, молча кланяется и выходитъ, шаркая грязными сапогами.

А что, если увезетъ? Какъ я могу помѣшать? Позвать Алексѣя? Работниковъ,—чтобы выгнали въ три шея этого... родителя? Э, чортъ! Вся надежда на Анну...

28 марта.

Старикъ уѣхалъ одинъ. Оставилъ Анну „до барыни“.

Ну, что-же? Опасность допингируетъ чувство. Сегодня наше.

30 марта.

Женщины, въ сущности, мало ревнивы. Если-бы онѣ знали, какъ часто, въ объятіяхъ одной, мы думаемъ о другой. Какъ часто поцѣлуй сегодня говоритъ намъ о поцѣлуяхъ минувшаго.

28



Твое имя, Маруся, было на устахъ моихъ въ эти ночи, только глухо сердце Анны... Эхъ! Если-бы Кулыгины умѣли быть въ любви рабами, если-бы я не пробовалъ стать твоей вселенной, моя далекая Маруся!.. А что, если теперь? Здѣсь?

„Printemps commence,  
Apporte l'espérance“...

Гм... Похоже, что у твоего бѣднаго Сампсона, разлука съ тобой обстригла волосы...

31 марта.

Анна сегодня спрашивала меня о Марусѣ. Почему я уѣхалъ отъ нея и прожилъ здѣсь одинъ всю зиму.

— Такъ... Не сошлись характерами.

— Значитъ, ты не любилъ ея.

— Почему ты это думаешь?

— Ну...—Анна улыбается. — Ты вспомнилъ-бы о ней, хоть разочекъ.

Весело и мнѣ. Я снимаю поцѣлуемъ съ ея губъ улыбку и молчу.

Мы тихо бродимъ по подсыхающимъ дорожкамъ сада. Надъ нашими головами хлопчутъ какія-то птицы. Пахнетъ талой землей и еще чѣмъ-то, кажется, почками тополя.

Надъ заборомъ показывается зеленая рожа мѣстнаго хулигана Никешки.

Я опускаю руку Анны и останавливаюсь.

— Что тебѣ?

Наглая, отвратительная улыбка обнажаетъ прекрасные зубы.

— Прохлаждаетесь, баринъ... А у меня голова болитъ, соорудите хоть на мерзавчикъ...

Безпричинная злость охватываетъ меня, но я смотрю на Анну и бросаю черезъ заборъ мелкую монету.

— Проваливай!

— Не задержимъ-съ...—отвѣчаетъ Никешка и слѣзаетъ съ забора.

Мы съ Анной молча идемъ къ дому. Спускаются сумерки. Блѣдная Анна пугливо жметъ къ моему плечу.

1 апрѣля.

А дни бѣгутъ. До приѣзда Маруси осталось не больше недѣли. Узелъ все затягивается, и кто его разрубить? Развѣ

добрая, бѣленькая старушка—смерть? А и на самомъ дѣлѣ, не порали-ли вамъ, Артемій Петровичъ, въ отставку? Заколютъ васъ на сосѣдномъ погостѣ, подъ какой-нибудь трогательной березкой, поставятъ крестикъ съ именемъ боярина Артемія, и двѣ милыя женщины станутъ по очереди носить вамъ цвѣты: Маруся — розы, Аннушка — незабудки. Элегія!..

Н-да... Хуже всего то, что Маруся моя—умница и поди уже чутьемъ угадываетъ ласковую встрѣчу. Кулыгинскія души, что весеннія дороги: хороши, пока стянуты морозомъ, а чуть оттаютъ,—слякоть.

На коврѣ у дивана сидитъ Аннушка, возится съ Макаркой и весело хохочетъ. Жирный Макарка вспоминаетъ свою молодость, выгибаетъ спину и сладострастно запускаетъ когти въ комочекъ газетной бумаги. Аннушка тормозитъ яго, щекочетъ и выставляетъ изъ подъ платья стройную ногу въ безобразномъ козловомъ башмакѣ. Макарка дѣлаетъ прыжокъ, и когти его уже въ бѣломъ чулкѣ. Аннушка взвизгиваетъ.

„Elle jouait avec ce chatte“..

Эхъ, папаша Верлэнъ, пожилъ-бы ты въ русской деревнѣ...

2 апрѣля.

Утромъ явился Алексѣй и сообщилъ о новомъ „злѣдѣствѣ“. Въ Сироткиномъ лѣсу обнаружили громадную порубку. Оказывается, еще зимой „мужички“ вырубил и благополучно вывезли болѣе сотни деревъ, да какихъ!

— Безпремѣнно надо вамъ самимъ туда съѣздить.

— Зачѣмъ?

— Осмотрѣть убытки-съ... Уповаю, что сердце ваше распалится, когда сами увидите какихъ великановъ свалили... Можетъ, и не простите, какъ въ запрошломъ году, разрѣшите жалобу подать.

Я взглянулъ въ окно. Солнце, теплень...

— Ну, ладно, поѣдемъ. Вели запрягать.

До Сироткина лѣса верстъ семь. Ыхали почти шагомъ по убійственной дорогѣ. Тарантасъ качало, какъ челнокъ на волнахъ... Но солнце съ нѣжной, такой еще дѣственной, весенней лаской грѣло спину, такіе вкусные запахи несъ навстрѣчу намъ изъ темнаго бора утренній вѣтерокъ...



Такъ доврчиво тянулись къ намъ изъ молодой травы первые скромные подснежники...

Алексѣй долго ходилъ между пнями, считалъ ихъ, мѣрялъ аршиномъ, мусолилъ карандашъ и писалъ въ своей засаленной книжкѣ, а я сидѣлъ, курилъ и думалъ о Гланѣ Гамсуна. Здѣсь, въ это утро, онъ понятнѣе, ближе... Но, Господи! Все-таки какую-же надо имѣть тишину душевную и какую желѣзную власть надъ воспоминаніями, чтобы не повѣситься на одномъ изъ этихъ милыхъ деревьевъ...

— Такъ какъ-же, Артемій Петровичъ?

— Что?

— Ужли-жъ опять прощать? Ужли-жъ не проучимъ негодяевъ этихъ? Вѣдь это никто, какъ опять сироткинцы, ихъ дѣло...

— Э, не стоитъ... Чортъ съ ними!

Алексѣй горестно всплескиваетъ руками, отвернувшись, злобно скребеть подбритый затылокъ и даже плюетъ въ снѣгъ.

То-то!.. „Распалилось“ кулыгинское сердце? Какъ-же!.. Это дѣдъ мой поролъ васъ до полусмерти... Но при немъ и тебѣ, любезный управитель мой, не поздоровилось-бы...

Такъ-же медленно тащились мы обратно и былъ уже полдень, когда тарантасъ подѣхалъ къ крыльцу. Изъ сарая выбѣжалъ работникъ Трофимъ, безъ шапки, принялъ лошадь и мнѣ показалось, что сегодня его глупая фигура имѣла еще болѣе испуганный и растерянный видъ.

Я прошелъ къ себѣ, переодѣлся и позвалъ Анну. Никто не отозвался. Вышелъ въ столовую, Анны нѣтъ и столъ еще не накрытъ...

Снова крикнулъ на весь домъ:

— Анна!

И снова—тишина.

Выбѣжалъ въ кухню... Гм... Точно ураганъ бушевалъ тамъ все утро. Я читывалъ объ еврейскихъ погромахъ... Сегодня я видѣлъ живую картину. Все разбито, все сломано. Опрокинуты чугуны и котлы и осколки тарелокъ плаваютъ на полу въ пролитыхъ щахъ. Сломанная метла брошена на смятую кровать. Подушка лежитъ въ углу, на ней кочерга...

Испуганный, ничего непонимающій, я хотѣлъ выбѣжать, повернулся къ дверямъ и на порогѣ увидѣлъ Анну...

Спѣшите часы, тянитесь долгіе страшные годы, — все равно... Время, ты уже бессильно! Я уже никогда не за-

буду лица Анны. Ротъ, носъ, шея, все залито кровью... Черной уже, запекшейся. Отъ уха рваная рана во всю щеку, и содрана кожа со лба, подъ волосами, подъ страшными всклокоченными, выдранными волосами... Одинъ глазъ запухъ, почти закрылся отъ сплошного синяка, а другой, сухой, огромный, смотритъ на меня. О! Тысячу разъ лучше, еслибы и онъ закрылся на вѣки! Кто заглядывалъ въ глаза избитой, искалѣченной собаки? Кто пробовалъ ковырять въ своемъ сердцѣ тупымъ ножомъ?..

Нѣтъ, это уже не она, это—Артемій Кулыгинъ рыдалъ и вылъ сегодня, обнимая ноги безмолвной Анны, пряча лицо въ ея колѣни.

Сейчасъ уже ночь. Анна уснула. Недавно уѣхалъ фельдшеръ, обмылъ это страшное лицо, забинтовалъ... Все тѣло Анны избито и вывихнуть палецъ на рукѣ.

Ахъ, все случилось такъ просто: пьяный Никешка бахвалился, болталъ на деревнѣ о кулыгинской любовницѣ... Старикъ пріѣзжалъ поучить дочку... Ну, и поучилъ!.. Быть можетъ, забилъ-бы и на смерть, да Анна вырвалась и спряталась въ погребѣ. Помѣшать расправѣ было некому. Работники всѣ въ полѣ, одинъ Трофимъ, но этотъ дурень и самъ испугался... Вотъ и все.

Спи, моя Анна!.. Вымоли у неба, чтобы, хотя на мигъ, я забылъ твой взглядъ...

3 апрѣля.

Анна харкаетъ кровью, бредитъ. Къ вечеру Алексѣй привезъ доктора. Мѣняли повязки, мучили... Анна тихо стонала. Докторъ говоритъ, что начинается нервная горячка и кромѣ того еще отбиты легкія. Гм... Честный старичокъ поработалъ на совѣсть!..

Голодный Макарка трется о мои ноги и жалобно мурлычетъ. Я далъ ему молока.

— Пей, Макарка! Это ничего, что въ молоко упало нѣсколько капель горькихъ и соленыхъ... Пей, Макарчикъ!

5 апрѣля.

Сегодня утромъ Анна умерла.

Спасибо Алексѣю, онъ обо всемъ позаботился. Позвалъ старухъ и бабъ съ деревни и сейчасъ покойница, уже обмытая и обряженная, въ бѣломъ саванѣ лежитъ на столѣ.



Горятъ вокругъ нея желтыя свѣчки и старица Егоровна читаетъ псалтырь. Шамкаетъ беззубымъ ртомъ и желтыми пергаментными пальцами перебираетъ лѣстовку.

Ну, вотъ, теперъ и я могу уснуть. Алексѣй уже и постель мнѣ приготовилъ. Даже подушку взбилъ и туфли поставилъ у дивана. Макарка уже устроился въ ногахъ на одѣялѣ, но еще не спитъ, смотритъ на меня зелеными глазами.

Сейчасъ пришелъ изъ города нарочный, принесъ телеграмму: „Выѣзжаю сегодня вечеромъ. Вышли лошадей. Marie“.

Телеграмму я молча передалъ Алексѣю. Онъ внимательно прочелъ ее, посмотрѣлъ круглыми глазами на меня, потомъ на покойницу, хотѣлъ о чемъ-то спросить, но буркнулъ: „Слушаю!“ и ушелъ.

Впервые за всю мою жизнь здѣсь я заперъ дверь на ключъ.

Я долго сижу у стола, неподвижный, усталый... Смотрю на часы: скоро полночь. До разсвѣта еще далеко, да Кулыгины и не умѣютъ торопиться. Тихо вокругъ меня... И въ душѣ моей странная и милая тишина.

Свѣтло горитъ лампа, и молча смотрятъ на меня съ полокъ тяжелыя книги. Много въ нихъ мудрости человѣческой. Христось и Конфуцій, Толстой, Сократъ... Проповѣдь мира, любви, справедливости... А рядомъ, за тонкой бѣлой дверью, лежитъ безмолвная Анна. Вытянулось на

столѣ исковерканное худенькое тѣло... Въ холодномъ, темномъ казематѣ сидитъ связанный благочестивый старикъ и думаетъ свои черныя думы... И внимательно просматриваетъ свой браунингъ раздавленный насмѣшникъ Артемій Кулыгинъ.

О, горите, горите ярче, свѣтильники истины, не бойтесь ослѣпить насъ: мы умѣемъ дѣлать великолѣпные абажуры...

Макарка спрыгиваетъ съ постели и сиротливо жметъ къ своимъ ногамъ. Я долго ласкаю его, беру на колѣни... Что мой сѣренькій сиротинушка? Не спится тебѣ сегодня? Ну, что-же? Много зимнихъ вечеровъ скоротали мы вмѣстѣ съ тобой. Вмѣстѣ допишемъ и послѣднюю страничку.

Егоровна зажигаетъ свою кадилъницу и тонкая струйка ладана плыветъ ко мнѣ въ щелку двери.

Входите сюда, уважаемая леди! Вы немного запоздали, но это ничего. Бѣдныя дѣвушки пользуются вашимъ вниманіемъ наравнѣ съ джентльмэнами. Досадно немножко, что до сихъ поръ вы еще не отвѣтили на вопросы одного любопытнаго принца... Впрочемъ, я уважаю тайну дамы.

Къ тому-же, человѣку иногда и полезно знать поменьше... Если-бы люди знали, что Смерть убиваетъ и души,— ей воздвигли-бы храмы...

Аркадій Селивановъ.





Я. Любарь.

## Спарафучиль.

Если тому самому интеллигентному человеку, которому не к кому пойти вечером и о котором пожалѣлъ когда-то еще Достоевскій, дѣлается, дѣйствительно, невтерпежь въ своихъ четырехъ стѣнахъ, испещренныхъ снимками съ картинъ самаго лучшаго интеллигентскаго вкуса, обрындѣвшаго до глухой и огромной ненависти къ себѣ, если при этомъ онъ настроенъ глубокомысленно, нѣжно, печально и гримасно (Игорь Сѣверянинъ разрѣшаетъ намъ это слово) и хочетъ чего-нибудь дѣйствительно свѣжаго, живого, немного волнующаго и въ то-же время немного грустнаго, но только самую чуточку, для высшей эстетики, чего-нибудь развлекающаго лѣнивую и капризную философско-критическую мысль такъ, какъ это навѣрно сумѣлъ-бы сдѣлать деревянный и разноцвѣтный Пульчинель съ бубенчиками, еслибы онъ, конечно, былъ настолько анти-деревяннымъ, какъ, скажемъ, неаполитанецъ—то, спрашивается, куда ему дѣться въ этомъ самомъ Петроградѣ?

Да, куда ему, къ чорту, дѣться?

О красотѣ Петрограда читались лекціи и это, дѣйствительно, изумительный и красивый городъ. Другой такой столицы нѣтъ на всей нашей маленькой планетѣ—такой возвышенной, не-крикливой, холодной, умной и давно поэтически-скучной про себя, какъ какая-нибудь красавица-аристократка. Историкъ, тончайшій докторъ эстетики, меланхоликъ и даже мы, скромные обыватели малой Разночинной улицы, гдѣ мы въ свободное отъ занятій время занимаемся тѣмъ, что не пьемъ сырой воды (въ силу прямого на то запрещенія свыше), всѣ мы въ извѣстныя бодродобрія или выпренне-разсудительныя минуты любуемся Растреллиевскими фронтонами, Эрмитажемъ, рѣшеткой Лѣтняго сада (она немного даже надоѣла... теперь ее всѣ открыли!) мощными и прохладными коллонами Исаакія, Сенатомъ, памятникомъ Петру и монументомъ имп. Александра III, но... если у насъ печаль хочетъ „изюминки“? Коль скоро я захандрилъ, что-же я на Растрелли пойду любоваться?

Да провались онъ, Растрелли! Меня классикой не раз-

вѣешь, я не профессоръ. Я homo sapiens и гдѣ-нибудь служу.

Если, скажутъ, печаль, иди въ портъ или на острова. Гуляй по Англійской набережной.

Merçi. Это все меланхолия.

Я не стану спорить—они прекрасны и портъ, и острова, и набережная, особенно теперь весной, въ бѣлыя ночи, когда на Петербургъ падаетъ ажурнѣйшая пелена широкой, блѣдной, немного мистичной абстракціи. Онѣ безмолвны, строги и презрительны ко всякимъ южнымъ порывамъ, наши просторныя и подъ вечеръ малозумныя торцовыя набережныя (онѣ, какъ ковровый полъ строжайшаго салона, крадутъ звуки такъ хорошо для усталыхъ...) наши геометрически-прекрасныя, широченныя площади, на которыхъ мечтается о ночи и снѣгѣ, залитомъ луной, и какой-нибудь медленно бредущей военной фигурѣ временъ Александра Благословеннаго, о князѣ Андрѣ Болконскомъ въ треуголкѣ съ тюльпаномъ и въ генеральской шинели... А эта даль по ту сторону Невы, и дымчатая, и завуалированная, и опрозраченная вечеромъ, даль, гдѣ, какъ на фарфорѣ, вырисовываются низкорослыя бастіоны Петропавловской крѣпости, коллегіи Петра Великаго, Ieu de pomme, дворецъ Меншикова... Но... все-таки... вѣдь на это мы глядѣли уже нѣсколько милліонъ лѣтъ и Бенуа, приблизительно, все это превосходно изобразилъ вотъ уже нѣсколько тысячъ лѣтъ тому назадъ!

А портъ съ его соленымъ и рыбнымъ запахомъ и копеносной колеблющейся арміей лайбъ, а острова съ ихъ розоватымъ на закатѣ цугомъ колясокъ и красавицъ? неясныя вечернія силуэты, быстрая галантная незнакомка со стукающими каблучками? Но, Боже мой, мы сами, будучи гимназистами и студентами много разъ уже объяснялись тамъ въ любви болѣзненной и зябкой курсисткѣ и просиживали съ ней, самой безжизненной изъ всѣхъ принцессъ Васильевскаго Острова, на гниленькой скамейкѣ до тѣхъ блѣдно-голубыхъ часовъ, когда рыбацкія лодки ползутъ съ Лахты на тони, въ Маркизову лужу, а на улицахъ появятся заспанные чукчеобразные дворники и благочестивыя убогія старушки, сѣменящія, кто къ ранней, кто на рынокъ.

А теперь? Развѣ что на моторѣ?.. Но вѣдь все равно рестораны обездушили и „Кувака“—мерзость.

Развѣ что въ компаніи?.. Но всѣ слова сказаны—о фронтахъ, о реформахъ и о перспективахъ.





С. СКЕРНЕВИЦКІИ.

Рисунокъ. свѣтл. каранда.



Досконально исчерпанъ и вопросъ о футуристахъ и послѣднимъ выданъ похвальный листъ, хотя мы сами попрежнему остались реалистами, поклонниками Флобера и Мопассана.

Ага, театр! Газетчикъ, „Вечернюю Биржевую“! Что? „Прибой“? „Румынія выступаетъ завтра въ 3 часа дня“? Нѣтъ, „Вечернюю Биржевую“.. Посмотримъ репертуаръ.

Нѣтъ, ничего нѣту. Римскій-Корсаковъ... конечно, это очень велико, но... скучно! Столько часовъ простоятъ на одной ногѣ въ святыхъ настроеніяхъ... И, кромѣ того, опера, это неправда, хоть убейте меня, а такъ въ жизни не бываетъ. Я не отрицаю театръ, но мы всѣ, по правдѣ говоря, оставляемъ его на случай премьеры, проводовъ малолѣтнихъ, rendez-vous, и на тотъ необычайный моментъ, когда нашъ другъ, желая славы или денегъ или въ силу внезапнаго сумасшествія, напишетъ весьма плохую пьесу. Бродячую Собаку закрыли, да и въ ней... хорошо, если Маяковский кого-нибудь побьетъ, а ну, какъ не побьетъ? „Зеленое Кольцо“ видѣлъ и содержанія оно не одобрилъ. Комическіе театры? Кинемо? Procul este, profani! „Подите прочь, какое дѣло поэту мирному до васъ! Въ развратѣ каменѣйте смѣло...“ Не говорю объ увеселительныхъ садахъ. Нѣтъ ничего скучнѣе и бездарнѣе петербургскаго сада. Акробаты, кокотки, плоскія шансонетки, скучающіе инженеры и адвокаты, толпа низколобыхъ клерковъ и подрядчиковъ передъ размалеванной и полураздѣтой армянкой—это надо очень страшно нарисовать Баксту или Добужинскому.

А знаете куда? Въ Народный домъ, вотъ куда. Да нѣтъ, что вы!

Право, пойдите въ народный домъ. Во первыхъ, потому, что вы тамъ никогда не бываете.

Вы ходите въ Маринскій, въ Александринку, въ Музыкальную драму, въ театръ „Миніатюръ“, а въ Народномъ Домѣ вы были когда-то, когда-то раза два и то въ одинъ изъ этихъ двухъ разъ вы ѣли тамъ пирожки, а въ другой ушли со второго дѣйствія Аиды или Фауста. Это изумительно, что Фаустъ любилъ толстую и старую Гретхенъ. Но все-таки, пойдите въ Народный домъ. Тамъ плебсъ, тамъ тотъ самый „сознательный рабочий“, котораго вы сами нѣкогда мучили не хуже „эсплуататора“ „теоріей прибавочной цѣнности“ и котораго вы не видѣли вотъ уже почти десять лѣтъ, тамъ милая дѣвушка, та самая, что

коротаеъ дни на третьемъ дворѣ, на пятомъ этажѣ съ пѣсенькой „Маруся отравилась, въ больницу повезли...“ (и потомъ помните: „И коротко и ясно—Маруся померла...“), тамъ еще встрѣчается распахистый студентъ традиціоннаго типа, котораго въ университетѣ уже какъ-то затерли аккуратные мальчики, а въ первыхъ рядахъ сидитъ „за дарма“ вашъ школьный товарищъ, газетный рецензентъ Миша, не кончившій высшаго учебнаго заведенія въ силу совпаденія причинъ, какъ-то: невзносъ платы, анархическія убѣжденія и званіе maestro въ биллиардной у Крутецкаго, по льготному билету раненый прапорщикъ запаса изъ Екатеринодара и, наконецъ, за свои деньги два соперника одной изъ цыганокъ изъ „Гугенотовъ“, останавливающей схватку гугенотовъ и легистовъ—фатоватый лицеистъ съ мило-потасканнымъ, умнымъ лицомъ и изысканнѣйшій и неумѣлѣйшій молодой человекъ съ пробормомъ, сынъ крупнаго чаоторговца.

Къ плебсу, къ плебсу! Какъ Катилина. И къ самымъ его низамъ, т. е., на самый верхъ, къ косовороткамъ подъ пиджаками, на галерку, откуда понятна сказка оперы, всѣ эти мишурные принцы, пажи, королевы, фижмы, шпаги и жесты; гдѣ объясняются въ любви только и можно, что пѣсней и гдѣ кажется совершенно естественнымъ, что дѣвушки непременно умираютъ отъ любви; откуда безусловно прощается, что ночь наступившая полъ-часа тому назадъ на вашихъ глазахъ, уже смѣняется разсвѣтомъ, что обстановка Гугенотовъ та-же самая, что и въ Риголетто и что кубки, изъ которыхъ пьютъ знатные иностранцы, очевидно не золотые и что это все нарочно...

Тамъ идетъ ирерасная сказка большого города, сказка современныхъ народовъ, которую уже распѣваютъ на Западѣ по всѣмъ кабачкамъ бродячіе музыканты, нынѣшня миеология пролетаріата, полная эмоціональности, трагичности и прекрасно-элементарнаго благородства; пролетаріата, потому что „мы“ уже замѣнили ее Вагнеромъ, Берліозомъ, Скрябинымъ и другими, другими, потому что мы уже хотимъ не оперы, а концерта.

Кармэнъ, Травіата, Паяцы, Риголетто... Ихъ не ждуть нигдѣ такъ, какъ въ Народномъ Домѣ, какъ та публика подъ потолкомъ, что по многимъ недѣлямъ мечтала попасть на „представленіе“. Тамъ подобаеъ быть „венеціанскимъ прынецамъ“, потому что именно въ нихъ и влюблена швейка третьяго двора и пятаго этажа; тамъ надо изобразить боль-



шія дѣла, яркія краски, благородныя чувства, ибо въ нихъ вѣрится, о нихъ тоскуется на фабрикахъ и черныхъ лѣстницахъ: это такъ должно быть, чтобы обманутая дѣвушка умирала-бы изъ-за любви, потому что уличная пѣсенка о томъ, какъ „Маруся отравилась“ вовсе не глупая и не пустая пѣсенка.

Въ Народномъ домѣ опера и драма—важное дѣло. И когда я сидѣлъ среди моихъ сосѣдей подъ потолкомъ, то для меня было неоспоримо, что нигдѣ, какъ въ Народномъ домѣ Ростанъ не могъ-бы съ такимъ правомъ помѣстить своего „автора“, который не выдерживаетъ передъ поднятіемъ занавѣси и бѣжитъ къ эстрадѣ съ запыхающимся, взволнованнымъ крикомъ „подождите!“ и потомъ, задумавшись, начинаетъ свой медленный, нервный и чуткій монологъ: „пустъ таитъ дрожащая стѣна“...

О, только здѣсь, въ Народномъ домѣ пробѣжить зыбь глубокаго волненія, когда Паяцъ въ своемъ прологѣ, въ этомъ вѣчномъ манифестѣ наемныхъ рабочихъ сцены, дойдетъ до паэоса, до, почти всегда, искренняго паэоса, въ крикъ: „И актеръ—человѣкъ!“ И когда онъ трагическимъ жестомъ, полнымъ вызова и гордости, даетъ сигналъ къ началу самой несложной и самой трогательной исторіи любви трехъ полунищихъ къ одной уличной артисткѣ своимъ „итакъ, мы начинаемъ!“—какая буря восторга раскатывается подъ потолкомъ!

А романъ донъ-Хозе съ работницей на табачной фабрикѣ, съ, что хотите, неприличной Карменъ! Вѣдь эта опера сдѣлала неотразимо-граціозной сутолоку на самыхъ задворкахъ жизни—на фабричномъ дворѣ, въ подозрительномъ трактирчикѣ, въ преступномъ притонѣ, передъ простонароднымъ циркомъ... Въ числѣ ея героевъ есть даже форменные апаши и они съ должнымъ сарказмомъ наипочтительнѣйше высаживаютъ изъ своего кабачка донъ-жуанствующаго лейтенанта. А достоинства жизненной правды въ сценѣ, гдѣ солдаты выпираютъ расхолодившихся работницъ съ фабрики никакъ уже не могутъ быть вполне оцѣнены партеромъ Мариинскаго театра.

Да, да, къ плебсу! Туда, гдѣ нѣтъ эгоцентрическихъ физиономій надъ высокими воротничками, и этихъ привычно-умышленныхъ походокъ, этой особой манеры во всѣхъ движеніяхъ—поднять платокъ, взять бутербродъ—этой дрессировки, которая ужасна тѣмъ, что она скрываетъ ничто, пустоту, газету, канцелярскій лобъ!

Къ плебсу. И я буду доволенъ.

„Дрожащая стѣна“ поднялась, и я и мои подпотолочные сосѣди—угрюмый приказчикъ, лохматый, веселый, огромный студентъ-горнякъ, принаряженная и надушенная „такая, дѣвица и застѣнчивая простоволосая барышня „изъ простыхъ“—имѣли счастье увидѣть невозможный ни въ какомъ средневѣковѣ залъ (великолѣпный залъ, гдѣ золота было масса) и посреди него на заколдованномъ квадратикѣ лицомъ честно къ публикѣ, спиной, естественно, къ актерамъ (такъ и надо)—„прынеца“. Говоря по правдѣ, мы должны были нѣсколько идеализировать дѣйствительность, ибо „прынецъ“ имѣлъ видъ тусклый, безжизненный и загнанный въ муштру. Довольно полный и отнюдь не браваый человѣкъ, съ руками по швамъ, со сжатыми и смѣшно-согнутыми колѣнками, не сходя съ квадратика, нельзя сказать чтобъ великолѣпно, пѣлъ о томъ, что онъ, „прынецъ“, опаснѣйшій соблазнитель и что есть у него на примѣтѣ одна „таинственная незнакомка“ въ „глухомъ предмѣстьѣ города“. Чортъ возьми, глаза у всѣхъ насъ заблестали! „Сказка будетъ хороша... сказка будетъ хороша“...

Принца окружили „знатные гости“, и въ числѣ ихъ, конечно, „наперсникъ“ и затѣмъ, шутъ.

Великолѣпенъ былъ шутъ! Конечно, никто не требуетъ невозможнаго—если горбача нельзя было сдѣлать маленькимъ, то пусть онъ будетъ гвардейскаго роста, привяжемъ ему только большой горбъ сзади; для хромоты-же прибьемъ большой каблукъ—тогда онъ захромаетъ.

Наперсникъ и гости имѣли надменнѣйшій видъ, а шутъ демонически кривлялся съ весьма афектированными ужимками, не оставлявшими сомнѣнія въ томъ, что передъ нами была трагическая душа; явившійся позднѣе „отецъ оскорбленной дочери“, благообразный и деревянный, какъ папа изъ хрестоматіи „для дѣтей и для народа“, былъ благороденъ до того, что нѣтъ спасенія, особенно, когда онъ въ горестныхъ отцовскихъ чувствахъ изрекъ свое проклятіе надсмѣхавшемуся шуту; но все это и входило въ наши претензіи къ Мельпоменѣ. Мы разгадали всѣхъ сразу; мы видѣли ихъ насквозь! Намъ было вполне ясно съ кѣмъ имѣемъ дѣло.

Первое затрудненіе впрочемъ, только на моментъ явилось для галерки во второмъ дѣйствіи. „Таинственная незнакомка“ (которая, какъ мы и предполагали, была, хе-хе, никѣмъ другимъ, какъ дочерью шута Джильдою) пѣла не въ



примѣръ всѣмъ прочимъ по итальянски, такъ что ея бурное и страстное объясненіе въ любви съ „прынецомъ“ было нѣсколько курьезно со стороны: онъ ей объясняется по русски, а она ему отвѣчаетъ весьма живо по итальянски, онъ ей опять по-русски и т. д. Наивный человѣкъ, конечно, не могъ-бы догадаться въ чемъ тутъ дѣло, т. к., очевидно, оба они отлично понимали другъ друга. Но мы не захотѣли себѣ портить удовольствія критикой и какимъ-то тамъ самоанализомъ—по итальянски, такъ по итальянски, а мы, не привередничая, вообразимъ себѣ что по-русски. Сойдетъ! Народъ неизбалованный. Понимаемъ, что дѣло произошло такъ по нуждѣ—не знаетъ артистка гастролерша русскаго языка и все тутъ. Что-же касается до наивнаго человѣка, то... эхъ, голова! Не сообразилъ, что у нихъ все заранѣе такъ подучено...

Для насъ, для галерки, суть была кой въ чемъ существеннѣй—передъ нами было дѣло важное и даже криминальное.

У шута, у бѣднаго, злого и трагическаго шута, который только что рыдалъ въ „темномъ переулкѣ“, есть невинная, робкая и нѣжная дочь, которую мы, ничтоже сумняся, воображали себѣ очень красивой. Она для шута—„все въ жизни“! И вотъ, эта невинная дѣвушка въ голубомъ, короткомъ платьицѣ любить... кого? да завѣдомаго намъ по первому дѣйствию ловеласа и соблазнителя—„прынеца“! Пусть прынецъ монотоненъ и неподвиженъ на своемъ сакраментальномъ квадратикѣ посреди сцены, пусть онъ на высокихъ нотахъ подгибаетъ колѣнки, какъ бы готовясь подпрыгнуть до верхняго до, мы ужъ знаемъ, что такой покоритель непременно затянеть въ свои сѣти и „дочь шута“. Онъ ей все-то, все вретъ, а она ему, чистая и пугливая дѣвушка всю-то правду говоритъ. Эхъ, не знаетъ она, дурочка, какая ему цѣна! Видѣла-бы она, какъ мы, первое дѣйствіе, не вѣрила-бы она тому, что онъ, „бѣдный студентъ“, будетъ любить ее „вѣчно“, не стала-бы его прятать за тѣмъ, что мы съ готовностью приняли за кусты!

то единодушный восторгъ вызвало появленіе „наемнаго убійцы“, Спарафучилле. Какъ и подобаетъ человѣку его профессіи, это былъ здоровеннѣйшій парень, весь, само собой разумѣется, въ красномъ съ головы до ногъ, въ тяжелыхъ ботфортахъ и съ полнымъ комплектомъ своего профессиональнаго инструмента—за поясомъ у него торчали ножи,

мое почтеніе, а поль-сцены перегораживалъ безконечный, бутафорскій мечъ.

Спарафучилъ (такъ немедленно окрестила его галерка) держался гордо и надменно и это сразу понравилось—человѣкъ никогда не долженъ терять своего достоинства. Онъ рекомендовался, конечно, „въ глухомъ переулкѣ“ съ первыхъ словъ шуту, какъ честный наемный убійца, который аккуратно выполняетъ заказы „за десять скуди“, причемъ половину беретъ впередъ. Это „скуди“ звучало фантазмагорически, изъ тьмы вѣковъ, изъ сказочной Италіи, изъ страны принцевъ...

Да, „скуди“ прибавило очарованія!

Проклятый шутъ! Онъ таки сказалъ Спарафучилу, что будетъ имѣть его въ виду...

Драма развивалась... Придворные подшутили надъ бѣднымъ шуткомъ и увели его съ завязанными глазами, выкрали въ это время его дочь и увезли во дворецъ принца—ничего добраго отъ этого мы не ждали на галеркѣ... Правда, „прынецъ“ былъ очень растроганъ, выйдя изъ спальни, но нужно было видѣть отчаяніе бѣднаго шута, ищущаго свою дочь! „Ахъ, вотъ старца проклятье!“ Не безъ того... тѣшили мы на галеркѣ. Онъ нашель ее, наконецъ, и отецъ и дочь плакали такъ трогательно, что никто подъ потолкомъ не смѣялся, даже тогда, когда дочь, загораживая отцу дорогу въ покои принца, кинулась къ двери и, ставъ на колѣни, распростерла руки, какъ распятая, съ такимъ рельефнымъ и забубеннымъ свержъ-трагизмомъ, что намъ было ясно: отецъ могъ-бы пройти въ дверь не иначе, какъ перешагнувъ черезъ трупъ дочери! И въ такой позѣ она самоотверженно замерла до того момента, когда опустившаяся занавѣсъ освободила ее отъ мученической роли живой картины.

Если близко къ концу оперы—жди покойниковъ. Это также вѣрно, какъ то, что смерть всегда бываетъ въ концѣ жизни.

Такъ и было. „Шутъ“ заказываетъ „наемному убійцѣ“, Спарафучилу, прирѣзать „прынеца“ и даетъ ему впередъ 5 „скуди“.

„Собака собака смерть“, сказалъ по этому поводу угрюмый приказчикъ.

„Прынецъ“ былъ рѣшительно несимпатиченъ мужской половинѣ галерки. Это хлыщъ и пустельга, сластена и бездѣльникъ.

Какой это мужчина, это дармоѣдъ и баринъ, который





П. ШИЛЛИНОВСКІЙ.

Офортъ.



только шляется за бабьими хвостами и портитъ дѣвушекъ. Спору нѣтъ, онъ человѣкъ добродушный, но галерка инстинктивно не переносила въ немъ его эгоистическо-воровскихъ замашекъ, этакъ походя взять и поломать чужую жизнь для своей забавы! И пусть бы только это—на то и люди, а не ангелы, но вѣдь какъ онъ при этомъ держится, какіе нѣжные романсы выводитъ, какіе глазки закатываетъ (все это мы воображали, правда, но съ полнымъ правомъ...), какіе у него бѣлые штаны! Хорошенькій, спору нѣтъ... „Только фальшь ты, вотъ что“, честно опредѣлила галерка. Въ народѣ кокетовъ ненавидятъ. Но дѣвушки... да, онѣ, были за „прынеца“, какъ и бѣдная, обманутая и брошенная дочь злого шута...

И, вообще, пьеса была весьма занимательна, но въ ней „не было настоящихъ людей“, по мнѣнію галерки. Придворные, очевидно, ничего не стоили, т. к., у нихъ всѣхъ только и было, что павлиньи хвоста, которыми они и постегивали иногда шута, а самъ шутъ... Злой, маленькій, темный человѣкъ. Трагедія? Вздоръ, не лѣзь-бы въ шуты, не подличаль-бы, не имѣль-бы „десяти скуди“, не было-бы тебѣ такъ скверно. А, главное, и ты, какъ прынецъ, приукрашиваешь себя, хотя и по иному, и намерзишь, накувыркаешься передъ господами, а потомъ вопіешь въ темномъ переулкѣ, бьешь себя въ грудь и причитываешь надъ судьбой... Галерка этого не любитъ. Посмотри на Спарафучила—онъ мерзитъ, такъ ужъ и не плачетъ, а рычитъ, какъ гиппопотамъ.

Дочка шута... Она-то, конечно, благородна, да вѣдь несмысленышъ, дѣвочка... Любая швейка ея умнѣе. Жаль ее, но какой же вы-таки это человѣкъ—ребенокъ... Лохматый студентъ ироническимъ басомъ говорилъ другому—„пошли-те-де съ галерки ласковую улыбку красивому и веселому принцу, будьте ослѣплены роскошью его двора, позавидуйте жизни его красивыхъ и веселыхъ собутыльниковъ, изстрадайтесь за трагическаго подлеца, за подколодную змѣю Риголетто, восплачьте надъ судьбой его дурочки сентиментальнѣйше—вотъ къ чему насъ приглашаютъ. *No de gustibus non est disputandum*“. А „другой“, тощій универсантъ въ потрепанномъ сюртукѣ, но съ Бодлэровскимъ взглядомъ цѣдилъ: „*Contradicitur, disputandum est*“. Всѣ персонажи должны умилять членовъ религіозно-философскаго общества *à la fin des fins*. Это люди съ цѣнностями, проклетіе, и они возятся съ ними, какъ дурень съ писаной торбой. Идеа-

лы ихъ, правда, порочны, но все-таки принцъ-эстетъ, а Ригалетто имѣетъ еще путь къ спасенію въ силу почтенія къ слову человѣкъ. Франкъ оцѣнилъ-бы въ немъ по-христиански уголокъ свѣтлаго... Но мнѣ нравится Спарафучиль—у него „нѣтъ идеаловъ, а есть лишь препятствія на своемъ пути“. *Segui il tuo corso*“. И это было приговоромъ галерки, ибо она смотритъ въ корень вещей.

Спарафучиль заявилъ шуту, что онъ охулки на руку не положить. Прекрасный Спарафучиль—онъ держался по прежнему, выпятивъ грудь, уперевъ руки въ бока и заломивъ назадъ голову; и ступаль онъ какъ элевантъ или человѣкъ, чувствующій твердую почву подъ ногами.

Дѣльце смарковали просто: Спарафучилова сестра заманила ночью принца въ „глухую таверну“, и публика дождалась, наконецъ, своей излюбленной панчеловѣческой аріи „Женщины—измѣнчивы“. Мы сверху заставили ее повторить раза три подрядъ плескомъ взволнованныхъ аплодисментовъ, а „такая“ дѣвица даже чуть-чуть замурлыкала: „Что намъ до ученья, когда кровь кипитъ...“ но сейчасъ же сконфузилась и смолкла.

Но когда Спарафучиль сталъ точить шпагу и приказаль „заштопать мѣшокъ для трупа“, галерка чувствовала себя въ театрѣ ужасовъ...

И вотъ Спарафучилова сестра захотѣла спасти хорошенькаго принца и стала просить Спарафучила убить шута, и дѣло въ шляпѣ. О, мы засіяли гордостью за высокомѣрнаго „наемнаго убійцу“, когда онъ неподражаемо закинулъ голову и заоралъ: „Что? Я честный разбойникъ!“ И это было самымъ великолѣпнымъ во всей пьесѣ! Да вѣдь въ оперѣ все-таки... все-таки былъ мужчина, смѣлый и прямой, не боявшійся называть вещи своими именами, человѣкъ своего пути... Наконецъ-то, галерка видѣла его во весь ростъ!

Но такъ какъ сестренка ужъ очень приставала, то Спарафучиль наконецъ согласился убить вмѣсто принца—перваго, кто придетъ до полночи, а нѣтъ, прирѣжетъ принца. И конченъ разговоръ. Мы одобрили этотъ компромиссъ, ибо уже тутъ дѣло Божье, планида, а галерка всегда признаетъ приоритетъ фатума въ мирѣ.

А въ это время на сценѣ разыгрывается, чортъ возьми, гроза. Громъ и молнія!

А что-же „дочь шута“, Джильда?

Дочь шута стояла за воротами и слышала все. И всѣ



сердца екнули, когда она кинулась въ дверь прямо подь ножъ Спарафучила! Бѣдная дѣвочка въ голубенькомъ платицѣ... вы должны были такъ кончить. И шутъ получилъ трупъ. Но какъ-же могъ онъ не помереть самъ, обнаруживши коварный и жестокий обманъ? По пьесѣ, онъ только падаетъ на трупъ, но мы на галеркѣ рѣшили, что и онъ померъ. Этого требовала художественная правда. А гдѣ-то издали хлыщъ-прынецъ продолжалъ пѣть: „Женщины-измѣнчивы...“

И занавѣсь многозначительно-медленно скрыла трупы отца и дочери... И былъ моментъ всеобщей тишины... все-таки это была прекрасная сказка... А потомъ прокатился ревъ... ревъ Народнаго дома.

Партеръ сталъ вызывать „по голосамъ“ и, прежде всего, Джильду, потому что она, дѣйствительно, искусно маячила на высокихъ нотахъ, какъ соловей, но галерка въ волненіи и гамѣ не могла вынести сперва опредѣленной позиціи. Она была потрясена не только мелодіями, она смотрѣла и въ корень вещей и... нѣтъ, она не могла вызывать принца! Она вызывала тоже „дочь шута“. Бѣдная невинная голубка, сколько черныхъ хищниковъ окружало тебя въ жизни... Угрюмый и справедливый приказчикъ вызывалъ ее.

Но лозунгъ галерки былъ данъ веселымъ и лохматымъ горнякомъ. Онъ усѣлся на барьерѣ и закричалъ на весь театръ своимъ добродушнымъ, огромнымъ, немного ироническимъ, вызывающимъ и увѣреннымъ басомъ: Спа-ра-фу-чи-иль! Спа-ра-фу-чи-иль!

Галерка оглянулась на него и... вдругъ поняла!

И это былъ лозунгъ; она загремѣла вся: Спа-ра-фу-чи-иль!

На кой ей чортъ, галеркѣ, всѣ эти подленькіе принцы и изломанные шуты? Она протестуетъ, галерка! Она вызываетъ честнаго разбойника, галерка! Да, въ этомъ былъ смыслъ драмы—это драма всеобщаго лицемѣрія!

И поэтому: Спа-ра-фу-чи-иль!

Голосъ галерки выдѣлялся мощно и отдѣльно—это кричала особая социальная группа... Это поняли и въ первыхъ рядахъ партера: крайняя лѣвая, Гора, демонстрировала!

И туда обратились улыбки... Но рецензентъ Миша, изгнанный нѣкогда за анархическія убѣжденія изъ университета, и сидѣвшій въ первыхъ рядахъ „за дарма“, сверкнулъ глазами и крикнулъ не къ эстрадѣ, а къ галеркѣ: Держись, братцы! Спа-ра-фу-чи-иль!

И на сценѣ къ всеобщему восторгу показался огромный Спарафучилле, красный съ головы до ногъ, съ ножами и шпагой, и оскалилъ зубы. Ахъ, тутъ не было конца аплодисментамъ единственному честному человѣку, не желавшему казаться лучше, чѣмъ онъ былъ...

Публика расходилась, театръ пустѣлъ, тухли огни, но тамъ, подь потолкомъ все было еще полно восторженнымъ плескомъ, который съ веселымъ горнякомъ во главѣ, хоча и задыхаясь отъ духоты, гремѣлъ по темному театру: „Спара-фу-чи-иль!“

Я вышелъ въ коридоръ выпить лимонаду и засидѣлся за стаканомъ. Я былъ доволенъ вечеромъ: на галеркѣ чуютъ, кто вретъ, а кто говоритъ правду. Уходя, я заглянулъ снова въ залъ, уже совсѣмъ почти темный... Есть какое-то очарованіе въ пустыхъ и безмолвныхъ театрахъ, гдѣ только что еще сверкала мишура, позолота, говорились громкія слова, боролись на сценѣ честолюбія и таланты, кишѣла и волновалась тысячная толпа... Тишь, темъ, усталость, „мыши грызутъ ненужныя кулисы“... и такъ просторно, такъ прохладно... Я люблю тогда постоять однимъ въ темнотѣ и чуютъ, какъ въ ней еще витаютъ смѣшныя и романтическія тѣни трагедій, силуэты ушедшихъ людей... Тогда хорошо думается о разномъ вздорѣ...

О чемъ тогда думаетъ интеллигентъ? О чемъ бы онъ не думалъ, онъ придетъ къ „вообще о жизни“...

— Все-таки это была превосходная сказка...—сказалъ я про себя.

И я, улыбаясь, видѣлъ множество разныхъ сценъ, которыя сливались какъ-то въ одну большую сцену, гдѣ истрается комедія безъ бутафорскихъ мечей, но различая и въ ней такое неисчислимое количество ничтожныхъ принцевъ, холоповъ придворныхъ, красивыхъ позъ, красивыхъ романсовъ, низкихъ и печальныхъ, исковерканныхъ шутовъ, затоптанныхъ васильковыхъ душъ. Ахъ, сколько этихъ сценъ! Сцена литературы, политики, искусства, жизни, міра... и, улыбаясь и покачивая головой, я одинъ въ темномъ и пустомъ театрѣ нѣсколько разъ тихо позвалъ: Гдѣ ты, прямолинейный Спара-фу-чи-иль?.. Спара-фу-чи-иль!.. И темнота и тишина мнѣ не отвѣтили, и моя память долго прислушивалась къ этому гдѣ-то продолжавшему жить зову: Спара-фу-чи-иль...

Я. Любаръ.





М. ИВАНЦОВА

Сеня.

А. С. Григорьевъ.

### А. Н. СКРЯБИНЪ.

14-го Апрѣля на 44 году жизни умеръ Скрябинъ, въ полномъ расцвѣтѣ творческихъ силъ, въ самый выразительный моментъ своей жизни. Въ нашемъ эскизѣ мы постараемся дать краткую характеристику его творчества и путь его развитія.

Въ творческой жизни Скрябина легко усмотрѣть три тѣсно связанные періода. Скрябинъ перваго періода очень родствененъ Шопену, онъ беретъ тѣ же формы и гармоніи,

но все-же содержание и ритмика даже въ самыхъ раннихъ сочиненіяхъ носятъ слѣдъ своеобразнаго душевнаго склада, еще болѣе изысканнаго, чѣмъ у Шопена; въ особенности капризенъ и сложенъ его ритмъ, остающійся на протяженіи всего творчества наименѣе эволюционирующимъ. И, начавъ свое творчество въ области субъективныхъ переживаній и эмоцій, Скрябинъ до конца дней своихъ остается вѣренъ себѣ. Все описательное, декоративное или связанное со словомъ чуждо ему; его музыка—только музыка, но не игра звуковъ, а рядъ глубочайшихъ настроеній отъ интимно-нѣжныхъ до бурно-изступленныхъ.

Второй періодъ, охватывающій, приблизительно, отъ 30 ор. до 59, знаменуется исканіемъ новыхъ гармоній, его мелодія приобрѣтаетъ большіе изгибы и взлеты, индивиду-



альные черты проявляются ярко и настойчиво, новые коллизии создают устойчивую мысль. Паэось и экзальтация достигают необычайной силы. Въ этомъ періодѣ видятъ вліянія Листа и Вагнера. Что касается перваго, то по напряженію и нѣкоторымъ мелодическимъ оборотамъ, Скрябинъ еще имѣетъ точки соприкосновенія съ нимъ; но противъ утвержденія вліянія Вагнера мы протестуемъ, какъ противъ мнѣнія близорукаго и поверхностнаго. Слишкомъ различны ихъ духовные облики и идеалистическіе порывы. Это сразу бросается въ глаза при разборѣ ихъ архитектурники: у Скрябина всегда форма была ясна и прозрачна, у Вагнера же, наоборотъ, все выливалось въ безформенный непрерывный потокъ музыки (его ученіе о безконечной мелодіи). Здѣсь, кстати, замѣтимъ, что, углубляя психологически содержаніе и усложняя гармонію, Скрябинъ вмѣстѣ съ тѣмъ свою форму не усложнялъ, а только кристаллизировалъ—его вдохновенія, обыкновенно, облекались въ простую форму прелюдій, а болѣе крупныя—въ форму сонаты, приближаясь часто къ сонатнымъ организмамъ Моцарта и Бетховена. И въ этомъ—удивительная особенность его творчества: при причудливыхъ ритмахъ и крайне сложной внутренней структурѣ—ясная и простая форма. Слушая его творенія, становится жутко отъ силы произведеннаго впечатлѣнія, чувства обостряются до послѣдняго предѣла, заставляя переживать утонченныя настроенія отъ самыхъ мечтательныхъ до истерично-страстныхъ, а разбирая послѣ ихъ архитектуру, удивляешься простотѣ построенія. И въ этой простотѣ печать генія.

Расширяя гармоническіе образы, Скрябинъ завершаетъ свои исканія новыми гармоніями, основанными на обертоновыхъ созвучіяхъ, совершенно порвавшими преемственность со всей до него бывшей структурой музыки. Новымъ духовнымъ созерцаніемъ онъ творитъ „Прометей“, эту вершину симфоническаго творчества. Невѣдомыми звуко-сложеніями „Прометей“ ослѣпилъ; открылся новый волшебный міръ свѣта и лучезарности—ничего земнаго, только устремленіе въ вѣчность, идеальное достиженіе прекраснаго. Проблема, предложенная Скрябинымъ, оказалась не подъ

силу обычному кругу слушателей, и первое исполненіе внесло необычное ошеломленіе, граничащее съ испугомъ. Голосъ пророка былъ услышанъ лишь немногими, было страшно приобщиться новому слову Скрябина. Но подаренное человѣчеству твореніе генія, „Прометей“, съ каждымъ послѣдующимъ исполненіемъ очаровывалъ, зажигая въ нашихъ сумеркахъ звѣзды, и число адептовъ возрастало все болѣе и болѣе.

Въ послѣднихъ твореніяхъ Скрябина мы усматриваемъ еще новыя грани его творческаго лика—кошмары и отчаянія 9-й сонаты смѣняются пантеистическимъ настроеніемъ 10-й сонаты, томленіемъ иного міра—его устремленія достигаютъ дуновенія природы.

Смерть застала Скрябина надъ созданіемъ мистеріи, долженствовавшей явиться новымъ грандіознымъ откровеніемъ, итогомъ всего музыкальнаго психологическаго мышленія, идеаломъ его напряженныхъ стремленій, но случай, сдѣлавшійся для него роковымъ, не далъ выполнить ему замыслы, но и наслѣдіе, оставленное намъ („Прометей“, „Экстазъ“, три симфоніи, 10 сонатъ, поэмы, прелюдіи, мазурки и множество другихъ мелкихъ сочиненій), ставитъ Скрябина въ ряды величайшихъ композиторовъ всѣхъ временъ и народовъ.

Въ заключеніе, скажемъ нѣсколько словъ о Скрябинѣ, какъ о пианистѣ. Почти всѣ мнѣнія сходились, его называли очень слабымъ и манернымъ. Да, въ смыслѣ чистаго пианизма, Скрябинъ обладалъ многими недочетами, но какъ исполнитель своихъ твореній, онъ былъ на недосягаемой высотѣ. Всѣ утонченныя изломы, ритмы, изысканные нюансы, экзальтация воплощались имъ почти съ реальной осязательностью,—онъ сливался со своими звуками, гипнотизируя слушателя, посвящая его въ таинство своего искусства. Его игра была священнослуженіемъ, и аудиторія, относившаяся сначала съ недоверіемъ, въ концѣ была побѣждена его всепроникающей духовностью; за послѣдніе три-четыре года каждый концертъ Скрябина былъ триумфомъ для автора.

А. С. Григорьевъ.



Въ вечерней „биржеvkъ“ отъ 2-го Мая есть замѣтка, весело свѣтящая среди тусклыхъ столбцовъ, какъ солнышко, выглянувшее въ туманный день—„Габріэль д'Аннуціо о своей роли:

Вотъ, что полагаетъ сей Габріэль д'Аннуціо о своей роли:

„Габріэль д'Аннуціо сказалъ слѣдующее:

Я не покину Францію и не вернусь на родину, пока Италия не объявитъ мобилизаціи. Но я вернусь на родину не съ тѣмъ, чтобы одѣть свой мундиръ кавалерійскаго офицера. Я хочу поступить на военное судно. И развѣ я не имѣю права,—говоритъ поэтъ—на службу во флотѣ? Развѣ не воспѣлъ я въ своихъ произведеніяхъ морскую славу нашей расы? Завтра я воспую наши побѣды. И если мнѣ суждено умереть,—я хочу найти смерть въ волнахъ Адриатическаго моря. Что можетъ быть прекраснѣе такой смерти для поэта“?

Мы были изумлены, когда узнали, что для службы во флотѣ нужно имѣть всего только даръ воспѣть флотъ. Представьте себѣ флотъ, состоящій изъ даровитыхъ поэтовъ, прошедшихъ десятилѣтній стажъ въ подвалѣ „Бродячей Собаки“. Очевидно, по мнѣнію Габріэля, окончаніе такого рода курса настолько приучаетъ къ качкѣ, туманамъ и перестрѣлкамъ, что даетъ всѣ права на поступленіе въ морскую службу. Во главѣ этого флота, надо полагать, будетъ стоять адмиралъ Игорь Сѣверянинъ и „я, вашъ любимый, вашъ единственный, я поведу васъ на Берлинъ“... Или адмиралъ Габріэль? Кто изъ нихъ? Игорь или Габріэль?

Или—Игорь поведетъ сухопутную армію, а Габріэль флотъ; то-то будетъ плохо нѣмцамъ.. Но, главное,—„я воспѣлъ“... „я воспую“... „я хочу найти смерть въ волнахъ Адриатическаго моря“ и, затѣмъ, ха-ха-ха, „что можетъ быть прекраснѣй такой смерти для поэта“. Слыхали? Вотъ, что полагаетъ Габріэль о своей роли. Спасибо Габріэлю и „Биржеvkъ“—навеселили.

Шантеклеръ? Шантеклеръ.

Я. Л.

Валерій Брюсовъ, авторъ „Путей и Перепутій“, нашель умѣстнымъ разсказать свою біографію въ „Журналѣ Журналовъ“ и закончилъ ее великолѣпно: „Если не говорить о „романахъ“ моей жизни, для чего, конечно, еще не настало время, въ дальнѣйшемъ моя біографія сливается съ бібліографіей моихъ книгъ“. Будемъ отнынѣ покупать каждый новый номеръ „Журнала Журналовъ“ (до сихъ поръ мы это не дѣлали) въ ожиданіи, когда же „настанетъ время“ для публичнаго исповѣданія Валерія Брюсова въ его интимныхъ „романахъ“. Для насъ это несомнѣнно такъ же важно, какъ романы Данте Алигieri и Вольфганга Гете, хотя, кажется, тѣ при жизни не

забрасывали публикѣ пикантныхъ и фамильярныхъ обѣщаній шепнуть о своихъ любовныхъ приключеніяхъ когда-нибудь... О, Валерій Брюсовъ убѣжденъ, что всѣ страшно заинтригованы побѣдами Валерія Брюсова надъ женщинами, которыхъ „воззвалъ“ онъ самъ „отъ ложа душнаго, изъ келій, съ перепутій“... когда-нибудь человѣчество будетъ заниматься и этимъ вопросомъ, чортъ возьми! Въ космосѣ поэта такъ много его, что поэтъ не можетъ удержаться—онъ утѣшаетъ своихъ почитателей и выражаетъ готовность идти навстрѣчу хотя-бы въ будущемъ ихъ интересу ко всѣмъ мелочамъ его обихода. Въ этомъ отношеніи у него есть предшественникъ—Шебуевъ, вотъ кто. Что-жъ, подождемъ. Гдѣ Вы будете разсказывать, Валерій Брюсовъ? Въ „Журналѣ Журналовъ“? Или, можетъ быть, въ „Синемъ Журналѣ“? Или—солидно, въ „Русской Мысли“? Нашъ совѣтъ—въ „Журналѣ Журналовъ“. Тамъ, почти рядомъ съ автобіографіей Брюсова есть статья Мих. Левидова „Манія популярности“, казнящая безстыдную развязность артистовъ въ погонѣ за успѣхомъ.—„Въ душѣ большинства писателей“, говоритъ Левидовъ, есть „унизительное противорѣчіе—безкрайное презрѣніе къ читателю и безграничная жажда его признанія, alias успѣха, популярности etc“. Затѣмъ, онъ изобличаетъ въ семь грѣхѣ—Маяковскаго, Андреева, Чуковскаго, З. Гиппиусъ, Арцыбашева, Сологуба, Игоря Сѣверянина и... и... „вылощенного демона Брюсова, усердно комментирующаго (во имя любви къ русской литературѣ?) свои произведенія“... Затѣмъ, идетъ статья Валерія Брюсова. Редакторъ, вы чего глядѣли?

Что-же, и Брюсовъ тоже Шантеклеръ? Шантеклеръ!

Шантеклеръ, всю жизнь подымавшій крылышки передъ цесаркой и говорившій, лукаво и гордо подмигивая: „Ко?“

Я. Л.

Редакція „Невскаго Альманаха“ отклонила стихотвореніе С. Городецкаго; произошелъ, какъ всегда, „принципальный, исключительный инцидентъ“.

Есть разные автоматы, но самый изумительный поставленъ въ редакціи „Невск. Альманаха“—онъ выбрасываетъ „Пушкинскій шоколадъ“. Кто-то посовѣтовалъ этотъ питательный продуктъ С. Городецкому отъ литературнаго малокровія. Поэтъ пришелъ, отвѣдалъ и поднялъ крикъ—шоколадъ оказался затхлымъ. Поэты всегда такіе наивные, ихъ всѣ обманываютъ!

А „Вы“ и „Ты“ это старая исторія. Есть у Генриха Гейне стихотвореніе, гдѣ въ прекрасныхъ строкахъ давно уже живутъ совмѣстно „Вы“ и „Ты“. Можетъ быть, это незаконное сожителство? Чье это дѣло—разсмотрите!

Д. К.



# М. СОКОЛОВЪ.

МАГАЗИНЫ И МАСТЕРСКІЯ:

Невскій 59, противъ Надеж-  
динской улицы.

Невскій, 71, уг. Николаевской  
улицы.

ТЕЛЕФОНЪ 55-89.

**МОЖНО ДЕШЕВО КУПИТЬ**

НОВЫЕ И СЛУЧАЙНЫЕ

ЧАСЫ, ЗОЛОТО, БРИЛЛІАНТОВЫЯ ВЕЩИ И СЕРЕБР.

МАГАЗИНЪ МУЖСКАГО ПЛАТЬЯ

**К. Р. БЕНИНГА,**

Петроградъ, Вознесенскій просп., 24. — Телефонъ 508-40.

ПОЛУЧЕНА ГРОМКАЯ ПАРТІЯ НОВЫХЪ МАТЕРІИ ИНОСТРАННЫХЪ И ЛУЧШИХЪ  
СЪВЪШНИХЪ ФАБРИКЪ, ТАКЖЕ Вновь ПРИГОТОВЛЕННЫ

— ГОТОВЫЯ МУЖСКІЯ ПЛАТЬЯ: —

пальто, костюмы и проч., въ большомъ выборѣ.

**ФАСОНЪ ИЗЯЩНЫИ, РАБОТА ПРОЧНАЯ.**

Заказы принимаются на всѣ статскія и форменныя платья по самымъ  
дѣловымъ цѣнамъ и исполняются въ кратчайшемъ времени.

Торговый домъ — **ЛЪТНІЯ ТКАНИ** —

**Кончаевъ и К<sup>о</sup>,** ШЕЛКОВЫЯ, ШЕЛКЪ СЪ ШЕРСТЬЮ  
ШЕРСТЯНЫЯ И БУМАЖНЫЯ.

Гостинный дворъ **129.** НОВОСТИ ДЛЯ КОСТЮМОВЪ И МАНТО  
Русскія, англійскія и французскія.

Сгромный выборъ. —  
Телефонъ 454-53. — Дешевыя цѣны.

Торгово-Промышленная Контора

**Н. В. ДУЛИНА,**

ПЕТРОГРАДЪ.

КОНТОРА:

9-я Рождественская  
15.

СКЛАДЪ:

Шлиссельбургскій  
пр., соб. д. № 22.

**САДОВЫЙ ОТДѢЛЪ И ПРОДАЖА  
СЪМЯНЪ.**

Большіе запасы всѣхъ фруктовыхъ и декоративныхъ деревьевъ и кустовъ, розановъ, цвѣточныхъ луковицъ, горшечныхъ растений и проч.

**Всевозможныя цвѣточныя и сельскохозяйственныя сѣмена.**

Смѣты по первому требованію  
высылаются немедленно.

**ИМПОРТЪ И ТРАНСПОРТЪ.**



С. А. 1930  
8,50

С. А. 1930

7-50  
111 650 / 780

35074-980

Цѣна 15 коп.

НА КУРОРТАХЪ И ВЪ ПРОВИНЦІИ

20 коп.